

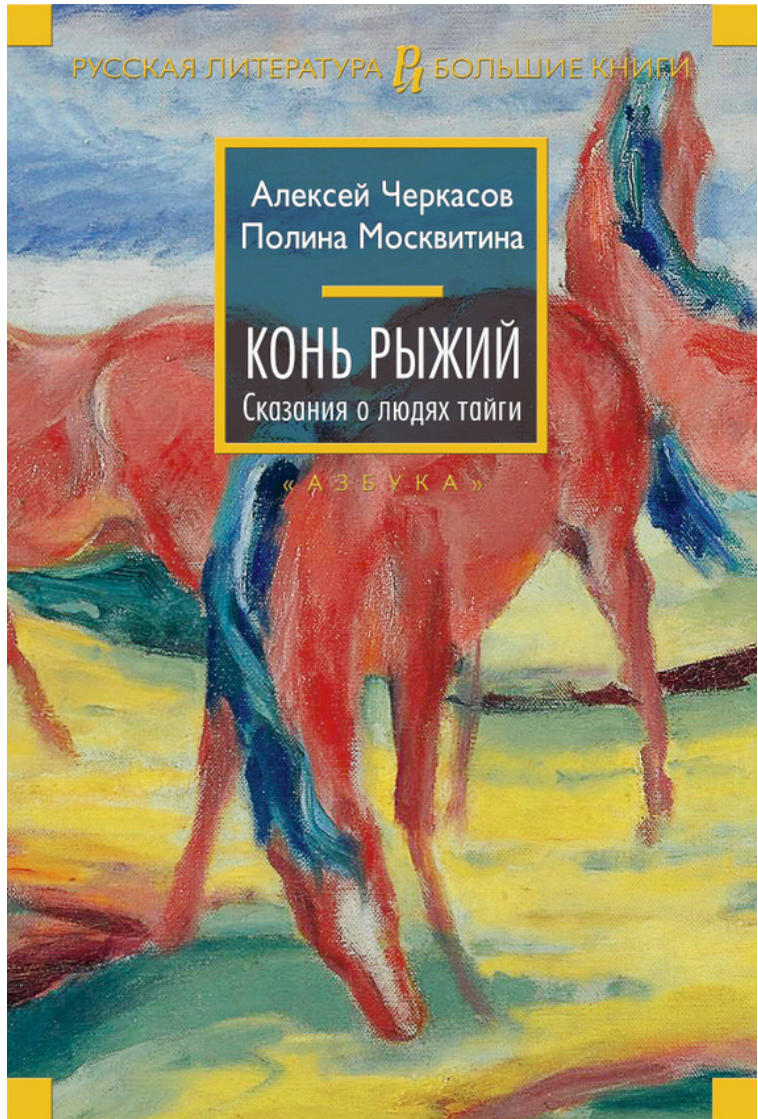
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Алексей Черкасов
Полина Москвитина

КОНЬ РЫЖИЙ

Сказания о людях тайги

«АЗБУКА»



Алексей Тимофеевич Черкасов
Полина Дмитриевна Москвитина
Конь Рыжий

Серия «Русская литература.

Большие книги»

Серия «Сказания о
людях тайги», книга 2

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153831
Конь Рыжий: Дрофа; Санкт-Петербург; 2016
ISBN 978-5-389-12062-4

Аннотация

«Конь Рыжий» – продолжение романа «Хмель» и вторая часть знаменитой трилогии Алексея Черкасова «Сказания о людях тайги», созданная им в соавторстве с супругой Полиной Москвитиной. Роман написан в 1972 году – позже других книг трилогии, и посвящен бурным событиям Гражданской войны.

Сибирь охвачена белым террором, и даже непреклонным старообрядцам не удалось остаться в стороне от политических событий: Белая Елань разделилась на два лагеря, взбудораженная стремительным бегом грозного и неумолимого времени. «Время

не конь, не объездишь, не уймешь – летит-мчится, а куда? И как там будет завтра, послезавтра? Погибель или здравие? К добру или к худу утащит за собой суматошное время?..»

Необходимость выбрать свой путь встает и перед главным героем романа – казачьим хорунжим Ноем Лебедем по прозвищу Конь Рыжий, поступками которого руководит незыблемая вера в торжество добра и справедливости: «Совесть мою никто не свергнет. И честь. На том весь белый свет стоит».

Содержание

Бытие рыжих лебедей	8
I	8
II	12
III	15
IV	19
Ветры и судьбы. Сказание первое	24
Завязь первая	24
I	24
II	33
III	38
IV	48
V	51
VI	70
VII	74
Завязь вторая	84
I	84
II	89
III	91
IV	99
V	110
VI	115
VII	118
VIII	127

IX	132
Завязь третья	141
I	141
II	152
III	155
IV	170
V	178
VI	183
VII	187
VIII	189
Завязь четвертая	191
I	191
II	193
III	196
IV	199
V	212
VI	214
VII	219
Завязь пятая	227
I	227
II	229
III	235
IV	243
V	247
VI	250
VII	258

VIII	261
IX	263
X	267
XI	271
Завязь шестая	281
I	281
II	282
III	284
IV	287
V	292
VI	296
VII	301
Конец ознакомительного фрагмента.	304

Алексей Черкасов, Полина Дмитриевна Москвитина Конь Рыжий

© А. Черкасов (наследники), 2016

© П. Москвитина, 2016

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Ат-
тикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Сыну Алексею посвящаем

*Из одного гнезда птенцы, да в разные стороны
птицами разлетаются.*

Бытие рыжих лебедей

I

Во времена оные, незапамятные, когда за Каменный пояс – Урал – перевалили отважные русские казаки вольницы Ермака Тимофеевича, закрепляясь на берегах Иртыша и Тобола, появились в Сибири первые казачьи поселения – станки, городища, а много позднее – станицы.

Одной из таких станиц был Таштып у синих гор Саянских. Проживал в Таштыпе казак Василий Васильевич Лебедь, из донских. Служил он верою и правдою царю и отечеству в Крыму, где сыскал себе красавицу-женушку из семьи бедного столяра, да и сам не из богатых был; выпало ему на долю быть первым в боях с японцами в Южной Корее, где его контузило от взрыва снаряда. И говорил потом рыжий казачина: кабы не командующий генерал, который не подбросил подмогу русскому гарнизону, то он, славный донской казак, вернулся бы в отчий курень не рваным и драным, а непременно в Георгиях и звонких медалях.

Тем временем в родной станице Качалинской на берегу Верх него Дона братья Василия поделили имущество и землю, и битому вояке мало чего досталось. Встретила его женушка, Анастасия Евстигнеевна, с тремя сынами: Василием,

старшим, названным в честь деда, как шло из рода в род у Лебедей, головастым Ноем, нареченным именем прародителя рода людского, и малым пятилетним Иваном – вот и все богатство, да еще мазанка отца, старого Лебеда, с матушкой Марфой Никитичной, а на базу – один конь, тупорогий вол да еще пестрая буренушка.

Два брата служивого успели обжить собственные курени, отделившись от старого Лебеда, два других – женились на богатых казачках и ушли из дому. Еще до того, как вернулся служивый из чужедальной Маньчжурии, сыновья его успели побывать в Юзовке на шахте, да ничего не заработали – уголек-то горькой солью оmyвается, а не деньгами для углекопов.

Созвал престарелый рыжий Лебедь сынов своих на семейный совет и сказал так:

– Все вы для меня и матери как вот пять пальцев на руке – не оторвать без боли и крови ни единый. Одначе, Григорий, и ты, Михаил, заобидели старшего брата, имя которого мое, как он первым народился, и по роду нашему – глава куреня. Али забыли то?

Рыжебородые братья – плечо к плечу, чуб в чуб, не забыли то, но в чем виноватит их батюшка?

– Гутарю я, вы слушайте! – призвал старик сынов, расправив надвое длинную, огненную бороду. А на груди его вся выкладка из крестов полного георгиевского кавалера, ордена Болгарии за освобождение от ига турецкого, а через плечо

по старому мундиру – георгиевская лента о трех черных и двух желтых полосах с бантом. – Наш род, сыны мои, с испокон века славен воинством, не богатством. Нету такой войны, в которой не воевали бы Аленины-Лебеди за землю русскую. Вышел из нашего куреня Алениных, какая у нас была фамилия до того, как стали звать нас Лебедями, Яремей сын Тимофеев, атаман знатный. Сказывают, будто род Алениных почался от самых первых казаков, какие за сто годов до царствия Ивана Великого пришли на Дон и тут жить стали.

Яремей, а как по прозвищу – Ермак, третьим был сыном у Тимофея Аленина, самым отчаянным. Созвал батюшка сыновей в курене и повелел вынуть по пруту из веника. У кого будет короткий прут, тому уйти из куреня в Астраханское воеводство, которое охраняло Дон от бусурман-турок и от татар крымских. Вынул Яремей короткий прут, ушел в войско, удалю и смелостью прославился, атаманом стал; награду поимел от воеводства – шашку турецкуюковки дамасской в золоте с прописью. Как было потом, никто не ведает: ушел из войска Яремей Тимофеевич, на Волге вольницу отчаянных людей собрал, на стругах летали, боярские и царские вотчины щупали, за что и били их не малым числом. Сам Иван Грозный повелел лютой казнью порешить всех, особо назвав атаманов: Ермака, Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка из станицы Качалинской, от которого род ведет наш станичный атаман, Григорий Анисимович, неслыханно разбогатевший конным заводом на казенных землях.

Приметил Ермака башковитый Строганов – на Урале заводы имел, соль варил, железо ковал и торг вел с кучумской Сибирью. Сказал Строганов Ермаку: ступай с вольницею за Камень – там земля сибирская под бухарским Кучумом-ханом. Нету, говорит, на той земле ни ладу, ни складу: кучумцы бусурманскому Магомету молятся, а дикари-сибирцы зверю и лесу, ясак не платят, богатства ногами топчут. Без той земли, говорит Строганов Ермаку, не жить России – простору не будет. Завоюй для царства Сибирь – и милости великой сподобишься.

И пошел Ермак с казаками и атаманами за Урал-Камень воевать того Кучума. Четыре года бились, потеснили войско орды, да не уберегся атаман: кучумцы подстерегли, напали на сонных, и утонул наш Ермак Тимофеев в Иртыше. В песнях навек прославился, а Сибирь прислонилась к царству Российскому.

II

– А теперь слушайте далее, сыны мои! Жили мы куренем у отца: пятеро братьев, как вот вы у меня, да еще четыре сестры. Хоть и немало повоевали Лебеди за землю русскую, а богатства не завоевали. Отчего? Что приплыло от воинских почестей, то и уплыло само собой, как Дон воду несет к богатым низовским станицам. А земли наши известны, и промысла нету!

Созвал нас батюшка на совет, и долго мы гутарили: как и чем жить? На богатых ли станичников горбиться али в шахты уйти, как внуки два года мытарились и рваными вернулись? И тогда сказал отец мой, который опосля Крымской войны из Севастополя вернулся при наградах и четырех раненьях: «Корень наш от Ермака по земле Сибирской, и не след нам, Лебедам, забывать про ту землю».

Рыжие чубы повисли вниз...

– Как Ярмак со своими братьями, тянули мы прутики из веника. Дяди ваши – Кондратий и Леонтий – вынули короткие; еще до чугулки поехали со скарбом в Сибирь – мы отдали им все, што имели, как деньгами, так и добром. Знаете, живут теперь в станице Таштып, и не жалуется, и стала им земля сибирская родней донской. Али не так?

Приздумались братья Лебеди.

Старый Лебедь поглядел на каждого из сынов, погладил

раздвоенную бороду, будто пламя разметнул, уставился на малого Ноя; а этот малый, не обиженный Богом силушкой, на пятнадцатом году вскидывал на плечо чувал с пшеницею в шесть пудов и не гнулся.

– Ноюшка, подь ко мне!

Братья Лебеди догадались: пошлет за веником...

Старого Лебедя опередил Василий.

– Не будем тянуть жребий, батюшка, – сказал он, выдержав суровый взгляд отца. – Братья своими курениями живут, и для них-то земли мало. К чему им трогаться? Ехать надо мне с семьею.

– Ай! – вскрикнула Анастасия.

– Видит Господь, от сердца говорю, старший сын мой, пусть будет так, – ответил старый Лебедь. – И не станет меж братьями злобы, а дружба восторжествует. А вы, сыны мои, остаетесь здесь, на славном Доне, окажите помощь старшему брату. Соберите деньги, кто сколько может, выделите что из скарба, скотины, имущества. У кого нету денег – займите. А я пропишу братьям в Таштып. – Глянул на седенькую жену Марфу Никитичну: – Вынь из мово сундука шашку Яреме-еву, Евангелие, какое носил с собой всю турецкую кампанию, с иконкой Богородицы, отца моево.

Старуха принесла из маленькой горенки шашку, завернутую в отбеленный холст, Евангелие с иконкой Богородицы и положила на стол перед хозяином куреня.

Старик вылез из застолья, развернул шашку, держа ее на

вытянутых руках, подозвал Василия:

– Перекрестись, сын мой.

Василий перекрестился.

– Передаю тебе боевую шашку Яремея Аленина, яко Лебедя. Не потреби ее во зло.

Василий принял шашку, поблагодарил отца за доверие, поцеловав золотой эфес.

– Ежли призовут на войну сынов твоих, – наказывал старый Лебедь, – передашь Ною; к нему имею великое доверие; не забывай то.

– Не забываю, батюшка, – ответил Василий.

Старик взял Евангелие с иконкой, подошел к Ною, положив руку на его плечо, сказал:

– Сие Писание, Ноюшка, с ним я гнал турков из Болгарии и немало видывал смертей и баталий. Передаю тебе с иконкою, и ты помни то в Сибири! Блюда слово Господне – не забывай всеу других людей.

– Я и так никого не забываю, – ответил внук.

– Знаю то! Господи! Кабы не бедность наша, послал бы тебя в Войсковое училище, и стал бы ты славный офицер для державы. Ну да доброе сердце подскажет тебе линию жизни. Таперь идите, сыны, с Богом. За неделю собрать надо Василия. До Воронежа проводим. А тебе скажу, невестушка Анастасия, не точи слезы: в Сибири не одни каторжные и ссыльные проживают. Василий знает, какую неслыханную смелость и геройство показали они на японской.

III

Василий Лебедь с сыновьями и женушкой Анастасией Евстигнеевной отбили поясной поклон Дону и поехали на двух бричках лицом к восходу солнца – в Сибирь. На чугунке погрузились в товарный вагон вместе с двумя разномастными конями, коровою, нетелью, скарбом и немало времени тянулись эшелонном в просторные земли за Уралом. От Красноярска плыли на пароходе до Минусинска по Енисею, а окрест лохматилась желтая осень. И тайга подступала к берегам, какую во снах не видывали. Потом на бричках дорога в Таштып. Ковыльные степи, серебрящиеся на солнце, где нагуливались отары овец и косяки лошадей, а деревня от деревни – семь верст киселя хлебать. На пашнях шатрами возвышались суслоны и скирды хлеба, стога сена по долинам. Дух захватывало от размашистого простора, невиданного на Дону.

Дяди – Кондратий и Леонтий Васильевичи, – такие же рыжие, как и старый Лебедь, встретили племянника с семьею гуляньем на целую неделю; жили они справно, в крестовых домах, а в надворьях – амбары с хлебом, скотные дворы.

Приписался Василий Лебедь к Енисейскому казачьему войску, сменил красные лампасы на желтые. За два года поставили пятистенный дом – благо лес был под рукою – кедровый, сосновый, – живи не тужи!..

Прибавлялась семья. Одна за другой появлялись на свет

люди твоя, Господи, женского полу: Харитинья, Лизавета, Анна, Прасковья, и на исходе бабьего века народилась Евлампия, которая, не прожив трех недель после крещения, была «заспана» матерью – о чем не очень-то сокрушался отец.

По семнадцатому году богатырской силушки сын Ной в горном Урянхайском крае, где казаки несли пограничную службу, подружился с отчаянным лоцманом, гонявшим салики по бурным и опасным рекам двуглавого Енисея – Бий-Хему и Каа-Хему, и до того натерел в плаванье, что век бы не расставался с диким краем, где проживали сойоты в берестяных и войлочных чумах, а среди них русские поселенцы из староверов, некогда бежавшие от православной церкви и самодержавии. Вольной волюшки набрался Ной по самую маковку. И действительную службу довелось ему отбыть в Урянхае, в казачьем гарнизоне Белоцарска.

Шли годы. Обжились Лебеди в Таштыпе. Замылся в памяти отчий курень старого Лебеда, умершего в Качалинской, и давно отошла с миром матушка Василия Васильевича, да и с братьями разминулся. Мужали сыновья, отбыв действительную службу. Старший, Василий, женился на сибирской казачке – у батюшки Лебеда появились внуки. Жить бы миром и согласиём, да самодержец всея Руси, помазанник божий царь Николай Второй призвал казаков первой очереди в армию.

Было Василию двадцать шесть лет от роду, Ною – два-

дцать четыре.

И сказал рыжий батюшка Лебедь сынам: свое никому не отдавайте, чужого на погляд не берите и не вводите себя в искушение – грех будет. Служите верою и правдою царю и отечеству, как я служил, как отец мой служил.

– И если почнется война с проклятушим кайзером Вильгельмом, не последними будьте в казачьем полку. Лебеди всегда должны быть первыми, – напутствовал отец. – А еще скажу вам: держите шашки всегда острыми и поезжайте с богом и родительским благословением.

Батюшка Лебедь торжественно передал шашку Яремея сыну Ною, как и заповедовал ему отец.

Братья Лебеди оседлали откормленных гнедых коней, поклонились в ноги отцу, Ной принял из рук матери дедушкино Евангелие и малую иконку Богородицы, а Василий простился с женошкой и двумя малолетними дочерьми. Ной облобызался с крестной, бабушкой Татьяной Семеновной. Напутствуя крестника на ратные подвиги, она самолично проверила казачье снаряжение – седла, потники, подковы, подпруги, ремни шашек и даже темляки на эфесах. Поклонились рыжечубые отчому дому, надворью, а тогда уже сумрачным, лохматым Саянам, где немало охотились и добывали зверя.

Любовью и разлукой светился тот день в истоке, когда братья вывели из ограды коней под седлами и ускакали на сбор к станичной управе.

Батюшка Лебедь наказал домашним: три дня ворота не закрывать, а у самого захолонуло сердце: старший сын Василий – казак надежный, а вот головастый Ной чуток подпорченный, на полевых ученьях не шибко старался, водил дружбу с поселенцами и ссыльными; ох уж эта Сибирь каторжная! Как бы греха не вышло.

IV

И вот она – война с Германией!..

Хлеба шли в налив, нескошенные травы пенились под ветром, а в станице – мобилизация.

Сполоснулась станица слезами казачек, солдаток и малых детушек.

Кому-то война выкинет козырную карту – живым быть, кому-то с мелкими козырями – калекой остаться, а кому-то бескозырное – аминь отдать.

В доме Василия Васильевича Лебеда печаль гнездо свила, и никто не знал, каких она птенцов высидит: черных воронят или сизокрылых голубей?

Кому угадать судьбу свою?..

В мокропогодное сентябрьское утро переступил порог дома Лебедей станичный почтальон в дождевике, с сумкой. И по тому, как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки Лебеда подмыло душу – не иначе как черный пакет принес.

Так и есть: два казенных конверта! Одно в траурной рамке – извещение о гибели. Василия или Ноя? Другое в конверте под пятью сургучными печатями.

Слышно было, как хлестал дождь за окнами и в палисаднике пошумлиwała отлинялая черемуха да тикали настенные ходики, а в голове у батюшки Лебеда вскипало горе: убит,

убит! Один или оба?!

– Дай, Анастасия, ножик, конверты вскрыть, – супругу свою он всегда называл Анастасией, не мельчил имени.

Маленький листок бумаги, отпечатанный в типографии и заполненный писарской рукой черными чернилами: «Ваш сын, Василий Васильевич Лебедь, казак 1-го Енисейского полка, в бою с неравными силами противника пал смертью храбрых...»

Анастасия истошно завопила. У батюшки Лебеда бумага выпала из рук. Невестка, вскрикнув, упала возле стола.

Свершилось! Высиделся в гнезде печальный черный ворон! Овдовела Натальюшка с двумя дочерьми, едва почав трудный бабий век.

А дождь хлещет, хлещет, черемуховые ветки шелестят по стеклам, и так-то тошно батюшке Лебедю! Вертит в пальцах пакет за сургучными печатями; черноголовый, вытянувшийся Иван смотрит на него.

– Наталия! Анастасия! Буде на первый раз, – призвал хозяин. – Ишшо долго реветь нам таперя. Второй пакет открывать али отложить до завтра? Может, сперва оплачем одного?

Подавив рыдания, вытираясь концами платков, Анастасия Евстигнеевна с невесткой подошли к столу, напряженно ждали. Батюшка Лебедь глянул на них, матюгнулся неизвестно в чей адрес, сорвал печати – большой лист гербовой бумаги с распростертым во всю ширину водянистым знаком

державного орла с короною, а сверху жирный оттиск: «Ставка Командующего Северо-Западным фронтом его высокого превосходительства генерала Я. Г. Жилинского».

У батюшки Лебеда мелко тряслись руки.

«Многоуважаемый младший урядник Енисейского казачьево войска господин Василий Васильевич Лебедь». Многоуважаемый! У батюшки Лебеда прыгали перед глазами машинописные строчки. Глядя на лист, вдруг понял: бумага вовсе не о Василии! Про подвиги Ноя в Восточной Пруссии...

Четырежды награжден Георгиями!..

Переведя дух, достал кожаный кисет, свернул самокрутку, прикурил и глубоко затянулся крепчайшим самосадам.

«По личному соизволению его сиятельства, великого князя...»

Схватился руками за голову и, сотрясаясь мощным телом, разразился рыданием:

– Господи! Неслыханный подвиг свершил Ной! Как батюшка мой под Плевною и Шипкою! Славен наш Ной перед государем и отечеством! – Рывком отодвинул от себя стул – тарелка слетела, разбившись, но никто не слышал звона: домочадцы испуганно смотрели на батюшку, а он повернулся лицом к божнице, упал на колени. – Да ниспошли мне, Господи, прозрения и твердости духа, каким ты осенил сына мово Ноя. В полные георгиевские кавалеры вышел!..

Из того же гнезда, откуда только что вылетел черный ворон, порхнул по дому сизокрылый голубь; печаль и радость

в один и тот же час!

Справили Лебеди панихиду по убиенному сыну Василию, а тем временем прибыло уездное начальство чествовать георгиевского кавалера Ноя Васильевича Лебеда.

Отлили сентябрьские дожди, начались первые заморозки, и тут пришло скупое письмо от самого героя. Земные поклонны батюшке и матушке, брату Ивану, сестренкам, горькое соболезнование невестке и осиротевшим племянницам, твердости духа всей семье в годину тяжких испытаний, а в конце:

«Из бумаги штаба Ставки командования фронта вам все известно – о том писать не буду. Пеплом присыпало душу от того боя, в котором сгиб мой дорогой брат и наши солдаты; чрез неслыханный огонь прорвались мы с пулеметною командою, чтоб выскочить из ада. И нету мне утешения по сей день – черная печаль укутала душу...»

Минул год, и еще год; от Ноя приходили скупые письма. В хорунжие вышел, командовал сотней в том же 1-м Енисейском полку, трижды пополненном, и вдруг – никаких вестей.

В марте 1917 года докатилось до Таштыпа: свалился царь с престола, и настала в России такая заваруха, что во всей станице ума не нашлось, чтоб рассудить: что к чему свершается?

Батюшку Лебеда избрали на станичном кругу атаманом, и он не посрамил себя. Призвал на службу всех бракованных и стариков тряхнул, чтоб отстоять свои исконные привиле-

гии, если, не ровен час, власть временная обернется супротив казаков.

Но власть временная милостиво обошлась с казаками: как жили, так и жить будут. Да вот есть в России партия неких большевиков, от них, дескать, беды ждать надо. А посему сготовливайтесь.

В июле, до страды, казачья сотня атамана Лебеда погрузилась на баржу в Минусинске и в Красноярск приплыла на подмогу комиссариату Временного, чтоб в страхе держать смутьянов и этих самых большевиков.

По первоснежью ударило – не морозом, хуже! – большевики в Петрограде захватили власть. «Экое, Господи прости! – кряхтел атаман Лебедь. – Сохрани сына мово, Ноя, Мать Пресвятая Богородица!..»

Сколько раз батюшка Лебедь выстаивал долгие молитвы в Покровском соборе Красноярска, вскидывая глаза на святого Георгия Победоносца, поражающего копьём змия: «Святой Егорий, нету угрева мне, нету известия. И где сын мой радостный, Ной? В живых ли он пребывает али большевики прикончили его? Игде он, сын мой?»

И не было ответа батюшке Лебеду.

Ветры и судьбы. Сказание первое

Слово дано всем, мудрость души – немногим.

Завязь первая

I

Река катает камни, бьет их друг о дружку, шлифует, и камни становятся гладкими, круглыми или плоскими, и тогда говорят: обкатаны водой.

Людей обкатывает жизнь и время...

Ной сидит возле печки с открытой дверкой, изредка подкидывает в огонь по паркетной плитке и неотрывно смотрит на вздрагивающее пламя. Голова у него большая, лобастая, борода рыжая, кудрявая – медью медь лита, плечи в суконной гимнастерке – саженью меряй; на коленях, в рыжей замше и золоте, драгоценная шашка, гнутая коромыслом. Подживляя огонь, Ной перекладывает шашку, вздыхает, то выпрямится, то сгорбится, тяжело думает.

Ох-хо-хо!

Времечко!..

Не взять тебя в беремечко, не перенести с места на место.

Четверо сидят и думают...

Пятый поглядывает на думщиков со стороны, подкручивает смоляные метелки усов – и ни о чем не думает: ни к чему зазря мозги тревожить. Он, пятый, Санька – Александр Свиридович Круглов – всего-навсего ординарец хорунжего Ноя Лебеда, председателя полкового комитета.

Тайный центр заговора из Пскова уведомил: на 26 января 1918 года назначено восстание двух дивизий 17-го корпуса на Северном фронте, двух стрелковых полков в Петрограде, женского батальона на станции Суйда и, главное, начать восстание должен Сводный сибирский полк с артбригадой в Гатчине.

В комнате буржуйского дома тепло от жарко пылающей чугунной печки. Думщики пригрелись – сон морит. Опять-таки, решение надо обмозговать и дать ответ посланцу тайного центра сотнику Бологову. Штабисты во главе с выборным командиром полка Дальчевским ловко вывернулись: пускай, мол, всю ответственность за восстание берет на себя чубатая дремучесть – полковой комитет.

Трое комитетчиков – Павлов, Сазонов и Крыслов, в казачьих шароварах с лампасами, думают всяк по-своему. Павлов – русский, усатый, стреляет глазами по думщикам, как бы в ожидании подсказки; Сазонов – пожилой казак, заросший сивою щетиной, с подрезанными усами и седеющей головой, развалясь в кресле, вроде спит с открытыми глазами: всхрапнет со вкусом, дрогнет, оглянется и опять примет прежнее

покойное положение; Крыслов беспокойно вертится на резном стуле с высокой спинкой, то на лепной потолок уставится, то на готические своды двух окон с замысловатыми переплетами рам, то на трубу печки, вставленную в форточку, то на полированный стол с гнутыми ножками, на котором чинно расставлена дорогая фарфоровая посуда – тарелки, чашечки с блюдцами, тут же обливная кружка, алюминиевый котелок, в черных корках Евангелие, иконка Богородицы над столом, две полированные кровати под ворсистыми одеялами, пуховые подушки – экая уютность, язви его! Ловко окопался хорунжий со своим ординарцем. Должно, немало добра нашли в этом одноэтажном каменном доме, брошенном беглым буржуем. Не с пустыми руками уедут домой. А тоже, председатель полкового комитета!..

Ной посмотрел на массивные золотые часы «Павел Буре» с откидной крышкой и золотой витой цепочкой: было без нескольких минут семь. По январю – ночь.

– Надумали? Починай, Иван Тимофеевич.

Крыслов прямится, оглядывается:

– Почему с меня? Как по старшинству – Сазонов пущай.

– Гутарь, Михаил Власыч.

– А што я? – просыпается Сазонов. – Какое мое старшинство? Председатель всему голова.

– Потому и спрашиваю как председатель. Придет сотник – ответ надо дать.

Молчат. Прячут глаза за частоколом ресниц, и как будто

не с них спрос.

– Два часа преем. Сколь можно думать?

– Не шутейное дело!

– Влезем по пояс, а потом и по горло.

– Опосля как будет, если дело не выгорит? – щурится Павлов.

– Поминки дома справят, вот как будет опосля, – ворочается Ной на стуле – припекло от печки, отодвигается вместе со стулом. – Гутарьте! Не на мирный майдан сошлись.

– Пушай бы штаб с командиром.

– Штаб переложил на нас, как на комитет.

– Дык двух комитетчиков от солдат полка нету, – вспомнил Павлов, лишь бы оттянуть время. – Мы за казаков – само собой, а полк-то сводный. Половина на половину. Куда два батальона попрут?

– Без серой суконки тошно, – ворчнул Крыслов. – Мы ж договорились без них обсудить. По мне так: вроде бы приспело, а? Если в самом Петрограде два полка шатаются да еще артбригада, которая сейчас в Гатчине, да наш полк, да из Пскова подойдут две дивизии, как там ни суди – сила!..

Ной внимательно выслушал Ивана Тимофеевича, наклоня голову то к правому, то к левому плечу.

– За восстание ты или против? – спросил.

– А при чем тут я-то? Не одной башкой решать!

– А если поддержка не подоспеет из Пскова? И петроградские полки замешкаются? – спрашивает Сазонов, что-то со-

ображая. – Тогда как будет?

– Всякому по Якову! – отрубил Ной. – Трех месяцев не прошло после мятежа генерала Краснова. Донцы шли! Отборное войско. Растрепали в пух-прах, а теперь новое восстание. Соображайте! Сами казаков шуруете: прикончить надо большевиков и так далее.

– Все едино не жить нам с большевиками! – зло сказал Крыслов, задиристый, что бойцовый петух. – Они ж наскрозь из суконки и мазутчиков, которым казаки с испокон века плетей всыпали. Али помилуют нас, когда укрепятся? У!

Заговорили, перебивая друг друга, и все в один голос: с большевиками в мире и согласии не жить.

– Стал быть, решили восставать? Подымайте руки!

Молчание. Рук не подняли. Сидят, посапывают, не глядя друг на друга.

Ной оглянулся на своего ординарца:

– Может, ты, Александр Свиридыч, решишь за нас?

– А што, Ной Василич? Моментом! Токо не в комитете я.

Крыслов ожил:

– Даем тебе право – решай!

Санька подкинул ребром ладони чернуший ус:

– По мне так: бежать надо отселева без оглядки! Из Гатчины – до Вятчины, а там через Урал в Сибирь, к себе домой. Вот и весь мой сказ. Пушай большевики сами по себе, а мы сами по себе. Нам с ними ни детей крестить, ни иордань святить. Пропади они пропадом!

– Что правда, то правда! – поддакнул Сазонов.

– В самом деле, чево мы тут прикипели, в Гатчине? – удивился Павлов, будто только что узнал, где он находится. – Со всех фронтов солдатня прет домой, а казаки и кавалерия – давным-давно с бабами постели мнут. Чего нам-то ждать?

– Шутейный разговор слышу! – остановил Ной. – А теперь скажу так: приспел час посмотреть нам на самих себя, какие мы есть спереду и сзади.

Комитетчики ждут. Интересно, какие же они с этих сторон?

Председатель продолжает:

– Какие мы есть спереду? Красные, как вроде клюквы или той брусники. Али не мы подняли оружие за Советы и за большевиков, когда нас пригнали в Петроград по приказу временных? Али не наши две сотни щипали донских казаков Краснова под Пулковом? Такие мы есть спереду.

Комитетчики шумно вздохнули. Эко разложил их председатель! А ведь в самом деле так оно и есть – клюква...

– Теперь глянем, какие мы есть сзади? Каждодневно шипим и дуемся на большевиков, которых мы же сами защищали. Слушаемся разных серых и офицерам поддакиваем, гнем линию к восстанию. Так или нет? С центром тайную связь держим. Так или нет? Какие же мы есть сзади? Белые. Только погонушки навешать – и сготовились. А разве не наскрозь белый наш выборный командир Дальчевский? Али он запаматовал, что он есть полковник и должен быть при погонах с

двумя просветами? Хэ! Он на свои карточки денно и ночью глядит! Там-то он припечатан в парадных погонах. Зовется эсером, а што это обозначает? Каким бывает туман, видели?

– Дак серый! – подсказал Санька.

– То и есть серые, туманные, – кивнул Ной, довольный тем, что сумел точно определить эсеров. – Ну а теперь скажите: разве можно жить на два цвета? Красными и белыми? Поглядят на нас большевики, какие мы есть сзади, – влупят! Ну а как из тайного центра захватят власть, как думаете: запомнят, какими мы показали себя большевикам спереду? Опять влупят!

У комитетчиков чубы повисли.

– Теперь скажу про диспозицию, какую выработал тайный центр. За январь месяц в третий раз приезжают к нам офицеры из центра, шуруют в полку, а мы – глаза вприжмурку. Бологов красиво гутарил про дивизии, да враки все. Нету дивизий в Пскове и на Северо-Западном фронте, какие сготовились идти на Петроград. Дезертирство кругом, офицерье щелкают по взводам и ротам. И чтоб солдаты пошли в такое время за восстание за бывших благородий? Хо-хо! Смехота. Или те два полка в Петрограде... Что же они не восстали?

Молчание. Тягучее, клейкое, как смола.

Ной доканывает:

– Стал быть, на кого надежду имеет тайный центр? Да на наш сбродный полк! Еще на эту артбригаду, какая из Павловска прибыла в Гатчину на передислокацию, как у них там

что-то произошло, и теперь их чистят.

– Пятерых офицеров арестовали у них позавчера, – сообщил вездесущий Санька, поддерживая командира. – А комиссаром к ним поставили большевичку из Петрограда, ей-бо! Селестина Грива по фамилии, из Минусинска будто бы. Сама в кожаной тужурке под матросским ремнем, с револьвером, в папаше, ей-бо! Глаза чернушие, а лицом белая. Спросила: из какой станицы я, много ли казаков Минусинского уезда? А я ей: «А вам какое дело?»

Сазонов тоже вспомнил:

– погоди, Сань. Гришъ, в кожаной тужурке и в солдатской папаше? Тогда я ее знаю. Приходила в нашу казарму, газету еще читала, про мировых буржуев чтой-то. Комиссар наш с ней был. А потом со мной разговор поимела. Интересовалась: знал ли я полковника Дальчевского по Красноярску, когда он ишшо был сотником? Я тут смикитил: подбирается, стерва, к девятьсот пятому году!..

Ной выпрямился, как аршин заглотнул:

– А что было тогда в Красноярске?

– В Красноярске-то? Дак Советы! Всю власть в городе захватили. Али не слышали, Ной Васильевич? У-у!

– Так разве Дальчевский был там на подавлении восстания?

– Сотней командовал, слышал, – виновато бормотнул Сазонов, опустив голову: сам был в той сотне карателей.

– Та-ак! – Ной поставил шашку промеж ног, навалился на

эфес грудью. – А теперь подумайте: тогда он подавлял революцию, рубил всех социалистов под корень, а таперь социалистом себя навеличивает!

Павлов сказал о подслушанном разговоре Дальчевского с офицерами, будто в Ленина стреляли, когда он ехал в автомашине, и тяжело ранили и что Ленин недолго, мол, протянет.

– Смехота! – покачал головой Сазонов, любивший поспорить по любому поводу. – За это время, Яков Георгиевич, покель мы стояли в Петрограде и вот в Гатчине, Ленина пять раз убивали, сто раз свергали, а он все жив-здоров и отряды Красной гвардии гарнизует.

– Живой, конечно!

– Да вот у меня – семь ранений. Два пулевых, одно от мины, одно от пики и три от шрапнельных снарядов. А чаво? Затянуло, заросло и крепше стало, – сказал Крыслов.

– Кто-то в окно глядит! – насторожился Санька.

Все оглянулись на окна – никого. Санька божится:

– Истинный Бог, видел! По обличности женщина, токо в шапке!

Думщики заметно перетрусили.

– Щупают нас, кажись! – шипит Крыслов.

– Хоть бы окна чем завешали!

– На такие окна по три одеяла на каждое потребуется, – отвечает Санька.

Ной взял со стола стеклянную лампу под зеленым абажу-

ром и поставил ее под стол. В комнате сразу стало сумрачно.

— Вот сейчас мы доподлинные подпольщики, — ошарашил и без того перепуганных комитетчиков. — А вы как думаете? Большевикам головы рубить сготавливаемся, а они бы сидели и ушами хлопали? У них теперь ЧК. Думаю так: удержать надо полк от свары! Пускай начинают петроградские.

— В самом деле, пущай они! — подхватил Сазонов. — К чему нам? Ни к чему. Первым завсегда дают по шее.

II

Послышались шаги за дверью. Кто-то шел по пустому дому к единственной жилой комнате председателя.

— Помолчим покуда, — предупредил Ной. — До отхода поезда на Псков часа два. Тянуть надо.

Вошел сотник Бологов — посланник центра, а с ним... две женщины!

Ной встал, и комитетчики поднялись.

— Что вы лампу спрятали? — спросил Бологов.

Женщины стояли у двери. Высокая, в папахе, бекеша ниже колен, в пимах, а с нею — в обрезанной шинели и в ушастой шапке, ростом чуть ниже. Бологов представил:

— Познакомьтесь, служивые. Командир женского батальона, — показал рукой на высокую, но ни фамилии, ни имени-отчества не назвал. А про ту, что в шинели, — ни слова.

Высокая, в бекеше, сама подала руку хорунжему Лебедю:

– Юлия Михайловна, – назвалась. – Рада с вами познакомиться, господин хорунжий. Как вас? Ной Васильевич! О, какой же вы истинно русский богатырь-силушка! Добрыня Никитич.

– Никак нет, – отверг Ной. – Не сродственник Добрыни Никитича. Присаживайтесь, коль в гости пришли. Милости прошу. – И подал стул.

Юлия Михайловна будто не слышала приглашения, ввинчиваясь сине-синими глазами в Ноя, точно просвечивала его нутро. Ной выдержал дерзкий взгляд. Экая баба укладистая! Лицом молодая, не схудалая. Из-под белой каракулевой папахи выбились прядки русых волос. В душу лезет, язва! А за ее спиной черноглазая хоронится. Что-то неладное. Не ловят ли их, доверчивых комитетчиков?

Санька меж тем, поставив десятилинейную лампу с начищенным стеклом на стол, подозрительно взглядывал на черноглазую. Именно она смотрела в окно! В шапке, точно! Она самая. Так, чтобы никто не заметил, толкнул локтем командира; Ной уразумел – предостеречься надо.

– Когда из батальона? – сухо спросил командиршу.

Дуги бровей Юлии Михайловны круто выгнулись.

– Вы, кажется, не доверяете? Скажите же, Григорий Кириллович, – оглянулась на Бологова.

– Тут нет подвоха, господин хорунжий, – заверил Бологов. – Наши люди.

Ной глянул на черноглазую в шинели, спросил:

– Вы смотрели в окно?

Командирша хохотнула:

– Ах вот в чем дело? Она заглянула. Моя пулеметчица. Не беспокойтесь. Мы должны быть крайне осторожными.

– Угу. – И – никакого доверия.

– Познакомьтесь, пожалуйста, с членами комитета.

Ной Лебедь представил. Юлия Михайловна пожала всем троим руки.

– Я не задержусь у вас, – сообщила, не садясь на стул. – Подошел поезд на Петроград. Пока на паровоз грузят дрова, зашла к вам, чтобы познакомиться. Нам выпала великая честь освободить Россию от власти узурпаторов-большевиков. Сейчас самый удачный момент: на Дону восстали казаки, в Оренбургском войске не признали большевиков, в Екатеринбурге неспокойно, в Малороссии – немцы, а по всем губерниям восстания крестьян. Надеюсь, вы знаете, какие переговоры ведут совнаркомовцы с немцами в Брест-Литовске? Они готовы пожертвовать половиною России, только бы выиграть момент и удержаться у власти. Ужасно! Ужасно! Сейчас или никогда!

– В каком смысле «сейчас или никогда»? – не понял Ной.

– Выгнать большевиков из Смольного!

– Угу.

Комитетчики поддакнули: гнать большевиков в три шеи! Ко всем чертям, чтобы под носом не пахло.

– Вы от серых, следственно?

У командирши глаза округлились.

– Каких серых?

– Партия, кажись.

– Нет, я не эсерка. Да это не столь существенно в данный момент.

– Кого вместо большевиков в Смольный?

– Никого! Институт благородных девиц – не для правительства великой Российской империи. У нас есть Зимний дворец.

– Царя, стал быть?

– Почему – царя! Я лично не за монархию. Созовем съезд Учредительного собрания, а там решим, какое будет правительство.

– Угу, – кивнул Ной, а себе на уме: «Экая суматошная баба! Учредиловкой давно насытились, а она только что проснулась. И ведь беды наделает, ежели не спеленать ее по рукам и ногам».

– Будьте покойны, Ной Васильевич, – разошлась командирша, – у меня рука не дрогнет, когда встретимся в бою с большевиками! У меня с ними особые счета, хотя я в данный момент формально являюсь членом РСДРП фракции большевиков. Но это всего-навсего необходимый маневр.

– Угу! – А на уме: «Ну и стерва! Этакая баба к чужому мужику будет бегать на свиданку, а про своего скажет, что вышла за него замуж по необходимому маневру, шток в распыл его пустить вместе с куренем».

Смолчал. Слушал.

– Вы тут с Григорием Кирилловичем обсудите план нашего восстания, а я сейчас еду в Петроград, побываю в двух полках. У меня там есть свои люди. Главное – Смольный! Взять его надо именно сейчас, пока немецкое командование не подписало мир с делегацией большевиков. Ваш полк, как меня заверили, надежнейший.

– В каком понятии?

– Подготовлен к восстанию. Крикунов придется убрать, конечно. И вот еще артбригада. Пятерых офицеров арестовала ЧК, слышали?

– Угу.

– Но в артбригаде есть наши люди – батарейцы исключительные. Сейчас к ним поставили комиссаром Селестину Гриву – опаснейшую тварь! Она была в нашем батальоне. До прихода к власти большевиков маскировалась под демократку. Но я ее еще тогда заподозрила! Оказалось, что она еще при Временном правительстве была агентом большевиков на фронте и выполняла особые поручения. Надо ее во что бы то ни стало обезвредить! – Липуче приглядываясь к богатырю Нюю, дополнила: – Ну, я рада знакомству! Надеюсь на вас, Ной Васильевич! И на вас, служивые!.. От всей души желаю удачи!

И, как того никто не ожидал, Юлия Михайловна сперва обняла Крыслова, поцеловала, потом Павлова, Сазонова, а тогда уже вскинула руки на плечи Ноя, прижалась к нему

грудью, опалив обе щеки долгим поцелуем – жаром ударило в голову...

III

Комитетчики умилялись: ах какая приветливая, истинно русская женщина командирша батальона! Такая женщина сто сот стоит. Бабой не называли – куда там! Крыслова слеза прошибла: вот уж казачка так казачка! Бологов поддакивал: Юлия Михайловна – умнейшая женщина, отважнейшая, а по части подпольной тактики – зубы съела, большевиков изучила досконально.

Санька поставил на буржуйку чайник, чтоб попотчевать гостя.

Ной все это время помалкивал, примостившись на стуле у стены возле кровати; шашка лежала на его коленях.

Думал...

Время неторопливо шло...

Комитетчики с командирши перекинулись на своих жен-казачек, у кого какая, про ребятишек вспомнили, про хозяйства, неслыханную разруху, про скудные пайки, не забыли о питерцах, как они пухнут с голоду и вымерзают без дров, и что даже в Смольном будто жрут неободранное просо и овес – толкут в ступах, парят в котлах, и что если дальше так будут харчеваться, заржут, не иначе, от конской кормежки.

Бологов разделся, охотно рассуждал с комитетчиками,

любовался фарфоровыми чашками – тончайшими, узорными, добытыми ординарцем Ноя в тайнике каменного дома.

– Который час? – спохватился он. – Ого! Четверть девятого. Скоро будет поезд на Псков.

Ной успокоил:

– Поезда ноне ходят, как им вздумается. Услышим гудок – станция близко. Чаевничайте, Григорий Кириллыч.

– Такого чаю давно не пил, – сказал Бологов. – Где вы раздобыли?

– Фронтовые трофеи допиваем.

Но надо же и главный вопрос решить!..

– Ну так с чего начнете? Думаю, надо сразу поднять весь полк. Прежде всего казаков. Я разговаривал с офицерами – обижаются на комитет. Напрасно вы их обходите. Надо к ним прислушиваться, господин хорунжий. Не собирать их, понятно, но с каждым в отдельности надо войти в контакт. Прежде всего свяжитесь с поручиком Хомутовым.

– В нашей казарме проживает, – сказал Павлов, представитель оренбургских казаков.

Бологов достал портсигар и хотел закурить.

– Попрошу не курить, Григорий Кириллыч, – остановил Ной без стеснения. – Табачного дыму не переносу.

– Не курите? Извините. – Бологов поморщился.

– Не курит и не пьет, – пояснил Крыслов. – Скажи на милость, Ной Васильевич, как ты не приучился курить?

– Ни к чему, Иван Тимофеевич.

– Дык на позиции-то как без курева! Хоть красное-то вино потребляешь?

– Для ошалелости пьют, Иван Тимофеевич, а к чему мне из памяти высказывать?

– Гляди ты! – зудит дальше Крыслов. – И по бабенкам не горазд, слышал?

– Я еще холостой.

– Дык самое время! – подмигнул усатый Павлов, вылезая из-за стола и подвигая свой стул поближе к печке. – Покель холостуешь – не зевай! Я, бывало, сколь девок и баб перещупал в холостяцтве!

Ной глянул на Павлова:

– А те девки какими стали потом, Яков Георгиевич? Кому нужна щупаная и лапаная? Вдовцу только. Вить она опосля чужих щупаний ни кочерга, ни свечка, а обгорелая головешка.

– Что верно, то верно, Ной Васильевич, – согласно кивнул Сазонов.

Бологов, недоумевая, водит глазами по комитетчикам, а те льют слово по слову, развалиясь на стульях, будто на посиделки сошлись.

– С чего же вы начнете двадцать шестого? – напористее давит Бологов, поднимаясь.

Ной словно не слышал вопроса:

– Хочу спросить про письмо, которое вы получили из Красноярска. По какой причине казачье войско не признало

там Советы? Из каких соображений?

– Понятно из каких. Жида захватили власть, как и в Петрограде. Это же ясно.

Ной покачал головой:

– Ясности покуда нету. Должно, другая причина. Эсеры, может, напустили туману?

Бологов сузил кошачьи глаза:

– А что эсеры? Эсеры – самая верная народная партия. Я что-то вас не понимаю, господин хорунжий! Я тоже эсер.

– Слышал, – скупое кивнул Ной. – Только у господ эсеров нынешних, как офицеров, так и генералов, чтой-то мозолей на ладонях не видывал. И соль хлебопашцев, как вот у казаков, по хребтовине не выступала. Откуда знать разным серым, что надобно народу?

– Извините, хорунжий, но подобные рассуждения неуместны для вас, – заметил Бологов. – Вы же полный георгиевский кавалер! За царя и отечество...

– Про царя разговору не будет, – отсек Ной. – Письмо почитать можно?

– Такие письма, Ной Васильевич, не держат при себе. Сжег. – Бологов взглянул на ручные часы. – Десятый час! Бог ты мой! Скоро будет поезд, а вы мне так и не сказали ничего существенного. До двадцать шестого осталась неделя! Вам надо успеть подготовить полк, особенно два стрелковых батальона. Казаки у вас молодцы – хоть сейчас на коня! Подъем чувствуется.

– Оно так, – хитро поддакнул Ной. – Хоть сейчас на коня, а потом окажутся под конем, в снегу и грязи, за упокой Господи!..

Скуластое лицо Бологова побагровело. Он уперся взглядом в хорунжего:

– Я вас совершенно не понимаю! Вы же приняли решение!

– Какое решение?

– Как то есть?

– Комитет еще не принял решения. Думаем. Сядь, посиди покуда.

– Ну знаете ли, председатель! – Сотника проняла дрожь с ног до головы. – Вы и в самом деле Конь Рыжий!

Ной медленно встал – глаза сужены, рука сжимает эфес шашки. Сотник попятился, бормоча:

– Извините, пожалуйста, господин хорунжий. Про Коня Рыжего в штабе у вас слышал. Обмолвился. Виноват.

Ной ничего не сказал, опустился на стул, вздохнул и опять начал думать.

Трое членов комитета тоже вроде мозгуют.

Санька Круглов притащил из недр пустого дома нарубленных половиц, подшуровал буржуйку и сел в угол – подальше от думщиков.

Молчат.

Время идет.

Сотник Бологов успел одеться – бекеша, ремень с кобурой, шашка, – то на того узрится, то на другого, раздувает

ноздри, смотрит на часы, в окна, а ноги так и прядут, будто ток утаптывают.

– Ну?!

Никакого ответа.

Тянут, сучат время в нитки, мотают на клубок: скребут в затылках, навинчивают усы и – ни слова.

– В молчанку играете, что ли? Так и скажите: ответа не будет. Я успею сбегать в штаб полка.

– Беги, может, сам полковник решит с генералами.

– Так, значит, не будет ответа?

– Будет. За семь минут до отхода поезда. Гляди на часы.

– Почему за семь минут? – хлопает глазами сотник.

– Ответственные решения завсегда принимаются за семь минут до кризиса.

– Какого кризиса?

– Духа, следственно.

– Ничего не понимаю!

– Молодой еще, мало был на позиции. С какого года?

– Девяносто четвертого. А что?

– Я с девяностого, а на позиции с марта четырнадцатого.

– Да при чем тут года!

– При своем месте.

– Не понимаю!

– В поезде поймешь, когда будешь ехать из Гатчины в Псков. Там соберешься с мыслей.

– Вопресть можно с вами!

– Попрей – не вредно. Жар костей не ломит.

– Вот на чем выиграла большевики! На вашем тугодумстве. Пока вы вот так сидели и думали, кучка большевиков из Смольного захватила власть.

– Стал быть, сила была у той кучки, – согласно кивнул головой Ной.

– Ну знаете ли, председатель! Скажу... – Но сотник больше ничего не сказал, а Ной не стал спрашивать.

В январской морозной стыни за окном послышался протяжный мык паровоза, прибывшего из Петрограда.

Сотника как поленом шибануло:

– Поезд же! Поезд! Слышите?

– Не сейчас уйдет. Гатчина – большая станция.

Ной снова примолк.

– Да вы что? Я же опоздаю на поезд! Голову с меня снимут в штабе корпуса.

– Не съмут. У штабных свои головы в тумане – к чему им твоя. Морока одна.

– Это... это... это... – Сотника начинало потряхивать. – Ну, я ухожу! Думайте. Черт с вами!

– Не чертись – нехорошо, Григорий Кириллыч, – пробурлил Ной, обихаживая кудрявую бороду. Поднялся. – Решение наше такое: сообщение центра мы, полковой комитет, выслушали и обдумали. Полк наш разноперый, не так чтоб чисто казачий, не так чтоб чисто пехотный, сводный и сбродный, следственно. Ни в каких восстаньях участия не прини-

мал. Но как тайный центр корпуса востребовал, отвечаем: наш полк не сажал большевиков в Смольный и не нам гнать их оттуда. Кто их сажал, тот пушай и сымает, ежели чем не потрафили.

Бологов на минуту онемел, губы трясутся, правая рука машинально опустилась на кобуру.

Санька Круглов глаз с него не спускал. Прошел к своей кровати, потихоньку вынул револьвер из кобуры, взвел курок и сунул в карман.

А Ной продолжает:

– Ежели тайный центр двинет дивизии на Петроград, мы, как полковой комитет, созовем митинг. Пушай казаки и солдаты решают: идти ли им на Петроград, чтоб успокоиться в побоище, али по домам разъехаться? Так и передайте центру.

Взбешенный сотник оглянулся на комитетчиков:

– Это и ваше решение?!

Комитетчики – ни гугу! Втянули головы в плечи, как куры на насесте, и глаза в разные стороны.

– Я вас спрашиваю! – рявкнул сотник, чуток подпрыгнув. – Или один хорунжий решает судьбы полка?!

Никакого ответа. Сопят тяжело, с присвистом.

– Вы же заверили командира женского батальона! – выкрикнул сотник. – Целовались с нею, черт возьми-то!

Ной сказал за комитетчиков:

– Ну, целовались. И что? Командирша батальона прихо-

дила нас поглядеть да себя показать. Решением нашим не интересовалась. К тому же – не с бабьим батальоном переворот свершать! Курицам на смех! И дивизий нету, сготовленных идти на Петроград. Нас втравить умыслили? Ну а мы не лыком шиты. Соображение имеем. Другого решения не будет.

– Во-о-от оно что-о! Да вы тут... большевики... мать вашу... Бога... креста...

Бологов подавился словами, икнул, аж слезы выступили, и пулей в двери, запнулся об ногу Крыслова, брякнулся поперек порога – шашка загремела, еще раз выматерился в бога, креста и богородицу, подобрал папаху и бежать что есть мочи: на поезд торопился.

Комитетчики схватились за животы, ржали с таким грохотом и свистом, что посуда на лакированном столе подпрыгивала, позвякивая. Ну председатель! Ну холера! Вот дал ответ центру, язви ты в почки! Ну хорунжий!..

– Ох и шпарит он сичас по улице!..

– Шурует, токо копыты щелкают.

– Ежли не отпустит подпруги – запалится, язва!..

Отхохотались, успокоились.

Ной предупредил, чтоб про ответ тайному центру – ни слова в штабе полка! Иначе головы можно потерять.

Комитетчики согласились: помалкивать надо.

– Созвать бы митинг да шумнуть: кто за восстание – остаются в Гатчине, а прочие – кто куда, – предложил Павлов.

– Теперешними декретами, какие подписал Ленин: землю

– крестьянам, фабрики – рабочим, – сказал Ной, – он по шее дал буржуям и разным министрам. Солдатня учуяла, попрет домой, удержи не будет.

– Да ведь ежели вникнуть в декреты про землю, так ведь, Ной Васильевич, нашему казачьему сословию от большевистских Советов чистая растрепанка, – напомнил Павлов.

Павлова поддержал задиристый Крыслов:

– С корнем вырвут! Казачество изничтожат будут, а на земли наши поселятся самоходы, как Ленин с кайзером Вильгельмом сговорились.

– Враки! – отрубил Ной. – Ежели бы сговорились, немцы давно в Петрограде были бы. Тогда к чему переговоры о мире?

– Про то самое и переговоры идут, – не сдавался Крыслов. – Самолично слушал одного товарища, что в том Бресте-Литовске половину России отдают немцам. Стал быть, и про казачество порешат. С чем тогда вернемся в станицы? Похвалят нас, что здесь в отсидку играем?

Разом выдохнули: станичники не похвалят. А как же быть?

– Экое время – в башку не поместишь!

– Хоть лопни от натуги, не поймешь: што к чему свершется?

– Чего не понять? – развел руками Ной. – Наше какое прозвание? Казаки от дедов и прадедов. И земли наши кровуш-

кой полнты, а не задарма получены. Того и держаться надо. Ни к серым, ни к меньшевикам, ни к большевикам в партию. Стоять будем за свое казачество.

– В точку, якри ее! – поддакнул Сазонов.

– Нету точки, – отверг Крыслов. – Ежли укоренятся у власти большевики с Лениным, тогда и точку поставят. Токо кому? Казачеству. Али не на казаков ярился наш комиссар? Не ждите, говорил, на время будущее царских привилегий.

Комитетчики притихли. Привилегии терять – не папаху с головы!..

Разошлись, подавленные неопределенностью.

IV

Время не конь, не объездишь, не уймешь – летит-мчится, а куда? И как там будет завтра, послезавтра? Погибель или здравие? К добру или к худу утащит за собой суматошное время?..

...И не было покоя Ною Лебедю с апреля 1917 года, когда избрали его председателем полкового революционного комитета; маета одна: ни власти, ни порядка – митинги кружили солдатню.

В августе 1-й Енисейский казачий полк угодил в клещи австро-венгерских легионеров и до того поредел, что ни пыху, ни дыху, ни знамени, ни штаба, и офицеров – по пальцам пересчитать. Отвели в Псков на формирование: пополнили

разрозненными казачьими взводами – кто и откуда, разберись, да еще два стрелковых батальона подкинули, а командиром на митинге выбрали обходливого штабиста Дальчевского. Назвали полк сводным Сибирским и по приказу Керенского двинули на Петроград.

Не успели казаки и солдаты вытряхнуться из эшелона, как на Цветочной площадке, куда железнодорожники загнали состав, встретили их вооруженные красногвардейцы-путиловцы с матросским отрядом Центробалта.

Пулеметы справа, пулеметы слева, штыки наперевес – вся Цветочная площадка взята в кольцо. Крепко уконопачено.

Митинг.

После митинга сводный Сибирский полк разместили в теплушках эшелона и загнали его в тупик на Цветочной площадке.

Но не очень-то, видно, надеялись на казаков совнаркомовцы, коль по соседству с офицерским вагоном полка помещился матросский отряд Ивана Свиридова.

С той поры Свиридов не отрывался от сводного Сибирского полка, куда назначен был комиссаром. Казаки прозвали его Бушлатной Революцией. Ни на коня, ни под коня. Из мастеровых на флот взяли, да еще рязанский – «косопузый», значит. Чужак!

Взбудоражили фронтовиков декреты новой власти, призывы Второго съезда Советов – подходящие для солдат и ка-

заков.

Ну а господин Керенский все еще прыгал – рвал и метал в Пскове, где находился штаб Северного фронта. Генерал Краснов призывал донцов к походу на Петроград, чтоб спасти Россию от анархии и большевизма.

Двадцать восьмого октября красновцы заняли Гатчину. А в Петрограде тем временем готовились к бою красногвардейские отряды путиловцев с бронепоездом, военные корабли подошли с матросами, на подмогу им Ной привел две сотни енисейских конников. Разгромили красновцев возле Пулковы, усыпали мертвыми красно-лампасниками снежное поле, разоружили живых, а генерала Краснова взяли в плен и отправили под конвоем в Смольный.

Хорунжему Ною Лебедю достался рыжий жеребец самого генерала – норовистый, горячий. За неделю умял жеребца – тихим стал.

В начале января полк отвели в Гатчину, чтоб охранял подступы к Петрограду.

Тут и завертелось! Командир полка эсер Дальчевский принял на довольствие в полк двух битых на позициях генералов, один из них правый эсер Новокрешинов. Генералы без погон, шитых золотом, а шинелюшки-то генеральские на красной подкладке и теплом подбиве.

За генералами в полк втесались беглые офицеры, переодетые в солдатские шинели; разговоры кругом пошли, сомнения. Бывшие вашброди шипят в уши казаков: и там-де вос-

станье, и там не приняли большевиков, а вы что смотрите? Милости от Совнаркома ждете?

V

...Офицеры полка и артбригады тайно сходились на совещание в дом вдовы авиатора Кулагина, погибшего на войне. Дом находился на окраине городка, по соседству с летным полем, на котором казаки теперь проминали коней и проводили учения.

У вдовы Кулагиной снимал квартиру начальник канцелярии полка подпоручик Дарлай-Назаров, и здесь иногда тайно собирались офицеры, частенько захаживал комполка Дальчевский.

Ограда была обнесена тесовым заплотом с резными воротами, калиткою и палисадником. Окна, выходящие в маленькую тихую улочку, закрытые глухими ставнями, не пропускали света. Возле ворот стояли на карауле двое: старший урядник Терехов, командир сотни оренбургских казаков, и его закадычный дружок, тоже старший урядник, Васюха Петюхин, комвзвода, известный в полку картежник и драчун.

Офицеры подходили один за другим и, называя пароль: «Туман сегодня», проходили в ограду в сопровождении Терехова, который должен был узнавать каждого в лицо.

Только что подошел незнакомый офицер в бекеше и шапке. И хотя он точно назвал пароль, Терехов пропустил его за

калитку в ограду и задержал:

– Погодите. Штой-то я вас не признаю. От кого узнали пароль?

– Уберите пушку, не балуйте.

Подошел генерал в длиннополой шинели и папахе; увидев Терехова с револьвером, спросил:

– Что происходит?

– Лицо незнакомое, господин генерал. Приказано строго проверять каждого.

– Этот офицер со мной. «Со шрамом» еще не прошел?

– Никак нет, господин генерал.

Под кличкою «Лицо со шрамом» – был комполка Дальчевский.

После генерала с неизвестным офицером прошли еще четверо знакомых Терехову. Заминка произошла с двумя женщинами. Их вел поручик Хомутов. Васюха Петюхин узнал Хомутова издали, сказал Терехову:

– Про женщин не было разговору.

И задержал поручика Хомутова у калитки.

– Ты что, Петюхин? Меня не узнал?

– Ну дак што? Пусть барышни отойдут от ворот. Когда придет «Со шрамом», тогда выясним.

Еще прошли офицеры, а поручик с дамами разговаривал поодаль. Казаки прислушивались: что-то о хорунжем Лебеде. Ну и ну! Уж кто-кто, а Конь Рыжий – злейший враг казачества, и Терехов, будь на то позволение офицеров, изрубил

бы его в куски.

А вот и сам «Со шрамом», а с ним коренастый, в бекеше и в пимах, начальник штаба хорунжий Мотовилов.

Заметив двух женщин с поручиком Хомутовым, полковник сразу пошел к ним.

– Юлия Михайловна? Оч-чень рад. Так вы еще не уехали в Петроград?

– Поезда сегодня не будет, – услышал Терехов ответ одной из женщин. – И вот мы решили побывать у вас. Обговорить еще раз предстоящую операцию.

Полковник тем временем узнал вторую женщину:

– И Дуня с вами? Ну-ну!

– На нее вы можете положиться, Мстислав Леопольдович. Она не только бесстрашная пулеметчица, но и моя помощница. Вы еще не знаете о наших переговорах с полковым комитетом? Надежные люди, Мстислав Леопольдович. А председатель – это настоящий Добрыня Никитич! Мне говорили, что у него большой авторитет не только среди казаков, но и у солдат.

– Расскажите на совещании. Николай Гаврилович, проводите дам.

Когда Мотовилов с Хомутовым увели женщин, полковник подошел к Терехову, чтобы узнать, не произошло ли чего подозрительного. Терехова прорвало:

– Извините, господин полковник. Поскольку слышал разговор про хорунжего – этого Коня Рыжего, должен упредить

вас с глазу на глаз. Я этого хорунжего, извините, от хвоста до ушей вижу наскрозь. Стерва он! Если не большевик, то давно ходит в ихней упряжи. Али не он водил енисейцев под Пулково на донцов генерала Краснова? Али не поимел благодарность от военки Смольного? Да его еще тогда надо было шлепнуть.

– Совершенно верно, Кондратий Филиппович, – доверительно ответил полковник. – Но... Нам чрезвычайно важно в данный момент повязать его так, чтобы он никуда не ускакал на красных копытах. А шлепнуть? Не всегда это нужно. Военный комиссариат Смольного перешерстит всех казаков и офицеров, и на митинге выберут в председатели такого же объезженного большевиками коня или того хуже. Надо его обламывать. Мы этот вопрос еще обсудим с вами, Кондратий Филиппович. А сейчас смотрите тут строго. В случае чего постучите в ставень.

– Слушаюсь, господин полковник!

Возле крыльца полковник обмел голиком снег с сапог, потоптался на приступках, прошел через глухие сени в переднюю избу. Над обеденным столом тускло светилась керосиновая лампа. Возле стола сидела русоволосая молодая женщина в теплом платке, накинутом на плечи. Перед ней грудились чайные чашки с блюдами, белела сахарница по соседству с печеньем в синей вазе. Когда вошел полковник и стал раздеваться у порога, женщина поднялась и пошла навстречу.

– Как я вас ждала, Мстислав Леопольдович, – ласково проговорила она. – Мне говорили, что вы болели?

– Ничего страшного, милая Елена Викторовна. Беспокоим вот вас, извините, пожалуйста.

– Да что вы, господи! Мой дом – ваш дом. Ваши беды – мои беды. Я вот позавчера побывала в Петрограде, и не поверите – больная вернулась. Люди как тени там. И мертвый, мертвый город! Наш Питер, господи! И когда это только кончится?

– Если большевики задержатся еще на полгода, Питера вообще не будет.

– Господи! – вздохнула хозяйка, спросив: – Подать в гостиную чай? Сейчас вскипит. За чаем-то лучше разговаривать.

– Ради бога, не вздумайте сами нести самовар. Пришлю офицера, – сказал полковник и направился за филенчатую голубую дверь.

В гостиной – большой комнате с двумя мягкими диванами, на которых расположились офицеры у квадратного стола, – облаком плавал табачный дым. Курили все, в том числе женщины, стряхивая пепел в морские раковины и чугунную пепельницу. Лампа-молния, свисающая на стержне от потолка, ярко освещала офицеров. Полковник поздоровался, и разговоры оборвались. Юлия Михайловна, докурив папиросу, ткнула окуроч в чугунную пепельницу, повернулась к полковнику:

– Мстислав Леопольдович, вот генерал, Сергей Васильевич, не верит моим словам о благоприятных переговорах с комитетом.

Генерал, не дожидаясь, что скажет командир полка, ответил:

– Эмоции, эмоции, госпожа Леонова!.. Мало ли какое впечатление произвели на вас комитетчики, а я вам скажу, извините, они просто обманули вас. Да, да, сударыня! И Конь Рыжий, извините, такой подлец, которого мало повесить. И не рыжий он, а красный конь военки Совнаркома. Да-с!..

– Я с этим, простите, совершенно не согласна, – возразила Юлия Михайловна. – Он все-таки офицер из казаков. А казак, как его ни крути-верти, останется казаком. И если на митинге казаки примут решение идти на Петроград, хорунжий будет впереди, господин генерал.

– Помилуй нас бог от наивных верований! – взмолился генерал. – В этом-то и провал всей нашей русской интеллигенции: в наивной вере, что всю Россию можно осчастливить, если уничтожить промышленников, купцов, национализировать землю и все прочее. Интеллигентики шли в ссылку ради идеи всеобщего благодетельствования народа. Вот Совнарком напечатал декреты о земле и мире, когда еще война не кончена с Германией. Какой может быть мир, если армии врага на территории России?! А ведь эти декреты всех сбили с толку. И такие вояки, как наши комитетчики, рты разинули: благодати ждут от большевиков!

– Не будем заниматься пустыми разговорами, господа, – попросил полковник. – Да, мы интеллигенты. Но ведь это же – мозг нации! Так что будем, по мере наших сил, работать для возрождения России. От декретов Совнаркома так просто не отмахнешься, Сергей Васильевич! В них заложен огромный взрывчатый материал. Или – или! А потому надо учиться работать в тылу большевиков и не допускать вопиющих глупостей. Надо помнить – впереди завтрашний день! А кому известно, каким будет завтрашний день?

Ни офицеры, ни генералы не сумели ответить на этот вопрос.

– Молчите? Именно в этом вся суть момента! Никто точно не может дать ответ о завтрашнем дне России! Быть ей или не быть вообще.

– России – быть всегда! – вдруг сказал один из офицеров, сидящий рядом с пулеметчицей Дуней. Все посмотрели на него – никто его не знал, кроме самого полковника и генерала Новокрешинова. – Да, я убежден: России быть всегда! Если Россия выдержала двухсотлетнее монгольское иго и не исчезла, а изгнала и разгромила орды завоевателей, то в данный исторический момент она, безусловно, выстоит и процветать будет. В этом я лично убежден. Другое дело: устоим ли мы, господа офицеры? И как с нами распорядится история? Вот на этот вопрос, думаю, и Господь Бог не ответит.

– Ну знаете ли! Не от офицера слышать подобное! – зло сказал лысый поручик Хомутов.

– Надо бы прежде представиться собранию, а не начинать знакомство с сентенций сомнительного содержания, – заметил еще один офицер.

– Господа, – остановил полковник. – Мы тут увлеклись, и я не успел представить вам уполномоченного центра «союза» капитана Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова, социалиста-революционера. Попросим капитана информировать нас о положении на фронте и конкретно о задачах, поставленных перед нашим полком на двадцать шестое января. Прошу!

Пулеметчица Дуня уставилась в лицо капитана: Ухоздвигов! Это же ее земляк!.. Сын золотопромышленника Ухоздвигова!.. Или однофамилец?

– Господа! – начал глуховатым голосом Ухоздвигов. – Я ничем не могу вас порадовать. Все армии на фронте полностью деморализованы и развалились. О дисциплине и говорить нечего. Судя по тому, что я успел узнать о вашем полке, его можно считать единственным, устоявшим от деморализации и повального дезертирства. Достаточно сказать: только за минувший декабрь и по десятое января текущего года на одном нашем фронте убито более тысячи четырехсот офицеров! Нет-нет! Не большевики расстреливали. Обыкновенные убийства солдатами из-за угла. Теперешний главнокомандующий Крыленко...

– Прапорщик! – не утерпел престарелый генерал Сахаров.

– Этот прапорщик, господа, оказался талантливым воен-

ным организатором, о чем писали даже французские газеты.

– Так что же он, прапорщик Крыленко? – напомнил полковник.

– Даже он со своим авторитетом и другие военные комиссары, как Антонов-Овсеенко, ничего не могут поделать, чтобы задержать процесс распада армии и вопиющих самосудов.

– Большевики именно к этому призывали суконку: к поголовному истреблению офицерского состава в армиях, – сказал генерал Новокрецинов. – Но меня интересуют конкретные установки центра относительно ближайших событий.

– Я охотно отвечу, господин генерал. План «союза» заключается в том, чтобы использовать конец января и начало февраля для решительного броска на уничтожение большевиков в Смольном вместе с их вождем. Акция индивидуального убийства, как вы знаете, провалилась. Есть сведения, что Ленин вообще не ранен, а пострадал только шофер.

Седой генерал спросил о реальных силах для восстания, на что надеется центр «союза»?

– Главные силы – Гатчина, сводный Сибирский полк и артбригада. Из Луги и Суйды двадцать шестого января подойдет особый офицерский отряд, а вместе с ним женский батальон под командованием Юлии Михайловны Леоновой, с которой вы знакомы, – капитан кивнул в сторону русоко-сой командирши женского батальона. – В самом Петрограде, как нас проинформировал центр «союза», готовы к восста-

нию два стрелковых полка. Командир одного из них, капитан Голубков, должен быть у вас, господа. И тут вся тяжесть ложится на ваш дисциплинированный сводный полк.

Офицеры шумнули:

– До дисциплины нам, как до Господа Бога!

– Разлезаемся по швам! Один толчок – и солдатушки с казаками посыплутся, как горох из мешка.

Раздался удар в ставень окна, выходящего в ограду. Все разом притихли, оглянулись. И еще два удара в ставень, даже стекла зазвенели.

Офицеры повскакивали, готовые кинуться в переднюю, чтоб поскорее одеться.

– Спокойно, господа! – призвал полковник. Он стоял у изразцовой печи, грел спину. – Поручик, – глянул на Дарлай-Назарова, – помогите хозяйке накрыть на стол, а я выйду узнать, что там произошло. Никакой паники! Если Бушлатная Революция пожаловала в гости со своими матросами – мы здесь собрались на вечеринку по случаю дня рождения господина подпоручика Дарлай-Назарова. И никаких глупостей и лишних слов.

В ставень еще раз стукнули... Полковник накинул шинель, папаху и не торопясь вышел из дома.

Звездилось полуночное северное небо, простиранное ветрами до синевы.

Терехов с Васюхой Петюхиным задержали кого-то. Увидев Дальчевского, Терехов пошел навстречу и отрапортовал:

– Фельдфебель Карнаухов привел неизвестного офицера и рвется к вам. А я спрашиваю: кто им сказал, что комполка здесь? И по какой экстренной надобности? Офицер при оружии и заявляет, что у него к вам пакет из штаба корпуса. А может быть, никакого пакета нет!

Дальчевский узнал сотника Бологова и фельдфебеля Карнаухова. И то, что Карнаухов, член полкового комитета от первого стрелкового батальона, привел сотника к дому вдовы Кулагиной, не в малой мере встревожило полковника. Так могут привести и агентов ВЧК!

– Ко мне? – Дальчевский пронзительно взглянул на Карнаухова. – Кто вам сказал, что я в гостях у дамы в этом доме?

– Ординарец ваш, старший урядник Глотов.

– Хорошо, фельдфебель. Вы свободны. – И когда Карнаухов вышел из ограды, полковник кивнул Терехову: – Надо последить за ним.

Поднявшись на крыльцо с Бологовым, Дальчевский повернулся спиной к сенной двери, сухо спросил:

– Почему вы не в поезде на Псков?

– Выслушайте меня, господин полковник, – дрожащим голосом попросил Бологов. – Конь Рыжий с комитетчиками пытался меня задержать, доставить в матросский отряд на станцию и сдать в вагон ВЧК. Он категорически против...

– Без фантазий, сотник, – поморщился полковник, подернув накиннутую на плечи шинель. Он догадался обо всем, глядя на вытаращенные глаза Бологова. Обыкновенная ис-

торийка! Хорунжий Лебедь лягнул набитого дурака, а дурак с перепугу готов лбом прошибить стену.

Кое-как, мешая явь с вымыслом, Бологов рассказал, какой у него состоялся разговор с комитетчиками в присутствии Леоновой и пулеметчицы Дуни и как председатель комитета заявил: пусть, дескать, господа офицеры и все серые восстанут в Пскове, Гатчине и прут на Петроград, но казаков комитет не призовет к восстанию.

– Так и заявил: «Повяжем офицеров».

– Он сам офицер, – напомнил полковник. – И как известно по фронту, бесстрашный офицер и к тому же георгиевский кавалер. Это много значит, сотник. Я не знаю, что у вас произошло. Вы, случайно, не назвали хорунжего Конем Рыжим?

– Обмолвился. Но... извинился.

– Па-анятно! Молите Бога, что выскочили от него живым.

Дальчевский прижал пальцами тикающую левую щеку со шрамом – фронтовую метку, подумал, что обалдевшего сотника нельзя вводить в дом: он столько наболтает на себя и под себя, что потом не выпутаешься. Достаточно одного его появления и встречи с госпожой Леоновой, как у последней разыграются дамские нервы, и тогда эту госпожу никакими припарками не успокоишь.

Полковник достал карманные часы, посмотрел время: было без четверти час ночи. А в час сорок проходит товарно-пассажирский поезд из Петрограда на Псков.

— О том, что с вами произошло в комитете, ни слова в Пскове! А вы фельдфебелю не проговорились?

Бологов дал слово офицера, что он понимает всю ответственность и не из болтливых, а Дальчевский подумал: как бы этот жалкий сотник при другом случае не выдал всех и вся? «И это офицеры?! Да разве с такими работать в подполье у большевиков?..»

— Хорошо, хорошо. Я вам верю, сотник. А теперь слушайте внимательно. Полк наш восстанет, как и намечено центром, и не Рыжему Коню остановить развивающиеся события. И вы должны утром быть в Пскове. Старший урядник проводит вас на станцию и посадит на поезд. Только не вздумайте прогуливаться по перрону. Иначе и в самом деле побываете в вагоне ВЧК. Еще раз предупреждаю: информируйте наших людей с должной объективностью и точно передайте мой ответ. А по дороге в Псков подумайте.

Кондратий Терехов пошел проводить Бологова на станцию.

Полковник долго еще оставался на крыльце, выкуривая одну папиросу за другой. Надо было и самому подумать. Конь Рыжий, если его не стреножить, сумеет повернуть полк не в ту сторону. Надо бы от него избавиться, но так, чтобы заподозрены были только казаки, но не офицеры и не оренбургские орлы Кондратия Терехова. Наступает самый ответственный момент подготовки операции. Вот если бы в самом Петрограде вспыхнуло восстание, тогда бы легче было бро-

сить туда сводный полк. Но там...

«Помоги нам, Господи! – взмолился Мстислав Леопольдович, хотя не верил ни Господу, ни своему „союзу“, да и самому себе. Что можно сделать, если находишься в окружении таких болтунов, как генерал Новокрешинов или престарелый Сахаров? Они же фактически трупы, и он, Дальчевский, с умом и талантом, гниет среди них. – Ужасное время! Если бы знать, что предпримут союзники России, если большевикам удастся подписать сепаратный мир с Германией? Это же мировой конфликт! Неужели ни во Франции, ни в Англии, ни в Америке ума не хватит понять: если большевизм устоит – то ведь волна мировой революции выплеснется и к ним!»

Полковнику Дальчевскому было просто страшно. Страшно жить, чувствовать себя в окружении рефлексирующих офицеров, суматошных дам наподобие Леоновой и всех прочих говорунов, утративших власть и влияние. Иногда ему казалось, что земля плывет у него из-под ног.

Махнуть бы на Дон! Дальчевскому доподлинно известно, что Войско Донское восстанет в ближайшее время, и кто знает, как далеко они пойдут. И поддержку донцы, понятно, получают от союзников: Черное море рядышком! Но на Дон Дальчевскому дорога заказана! Ведь это его сводный Сибирский полк принимал участие в разгроме войска генерала Краснова!

Сиди и думай на перилах крыльца!..

Тем временем в гостиной вокруг тульского самовара, попивая чай, офицеры играли в карты, поджидая полковника. Куда и кто его вызвал? Что еще стряслось?

Черноглазая красавица Дуня играла в карты с капитаном Ухоздвиговым, а против них два генерала – седой и грузный Сахаров и напористый, энергичный Новокрешинов, немало скомпрометировавший себя среди офицеров длинным языком. Генерал обладал удивительным талантом восстанавливать всех и вся против собственной персоны. Стоило ему два-три раза встретиться с кем-нибудь в компании, перекинуться в картишки, как его знакомство тут же обрывалось. Он умел так ловко оговаривать друзей и знакомых, что даже сам удивлялся: откуда у него столько врагов? Язык его поистине был его лютым недругом, и он с ним никак не мог совладать. И на этот раз, не успев сделать двух ходов в подкидного, он разозлил капитана Ухоздвигова.

– Плохо вы кончите, капитан! – сказал генерал. – Экую глупость ввернули, братец, про Россию! Что значит: «России быть всегда»? Мальчишество, братец! А представьте себе такую карикатуру: большевики усидят в Смольном, ну хотя бы два года, что же останется от России?

– Россия останется, господин генерал. И в этом я не сомневаюсь.

– Хо! Хо! – хорхнул генерал. – Вы пишете стишки, кажется?

– Пишу. И если уж говорить о России, господин генерал,

напомню вам на этот счет стихи Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать, —
В Россию можно только верить!

Генерал покачал головой и, сбросив карту, ответил:
– Что же тут умного, капитан? Если умом не понять Россию, то почему, позвольте, я должен в нее верить? Это уж, извините, нечто языческое. Глупо. Вы, может, прочтете мне и такой шедевр:

Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ...

– Это написал гений России! – подхватил капитан.
– Не гений, милостивый государь, а великий путаник. При надлежащем правительстве подобных путаников будут вешать на осинах. Да! Именно так. И заметьте себе: Россия не Франция. Вы бывали во Франции? Ах да! Вы же кавалер ордена Почетного легиона. Это очень хорошо. Тогда вы знаете, что французы не верят в слова и просто слушают, позевывая, а вот русский мужик, если его подзудить словами, берется за дубину по присказке: «Была не была, а по башке шарахну. А потом хоть виселица». И когда баламуты в стихах или книгах напускают разврат суждений, вызывая недовольство

правительством, в России один исход – мятеж! Революция. И это вам надо бы знать, братец.

– А разве не было революции во Франции? – сдержанно напомнил генералу капитан.

– Все их революции, братец, мыльные пузыри!

– А семьдесят первый год? Надеюсь, вы слышали о так называемой Парижской коммуне.

– Слышал, братец. И что же? Все эти смутьяны Парижа перекипели сами в себе, как в котле смола, и стоило дунуть на них генералу Тьеру – смола окаменела. А вот вы попробуйте дунуть на смолу в котле России. То-то же. Попомните мои слова: если в России утвердится какое-либо волевое и решительное правительство и поставит своей целью сохранить мощь России и даже приумножить ее территорию, оно прежде всего зажмет в кулак всяких там «мыслителей», как их называют хлюпающие слюной интеллигенты без ума и памяти. Вот что я вам присоветую по старшинству, господин капитан: не пишите стихов и не читайте их! Никогда. Будьте офицером. А что значит русский офицер? Это тугой кулак без всяких эмоций и рассуждений! Иначе, повторяю, плохо вы кончите!

– Благодарю за совет, – сердито ответил капитан Ухоздвигов и, положив карты на стол, дополнил: – То, что вы тут наговорили, чингисхановщиной припахивает, господин генерал. Именно Золотая Орда завоевала мир без наличия какого-либо интеллекта и не оставила после себя ни единого ум-

ного человеческого слова. Были – и не были! Именно такое чингисхановское правительство хотели бы вы создать в России? В таком случае – я не слуга вам.

Генерал ничуть не возмутился.

– Не сержусь на вас, капитан. Если бы вы были явлением исключительным для России, я бы вызвал вас к барьеру. Но увы! И барьеров ныне нету, и офицеров, в сущности, также.

– Достаточно одного генерала на всю Россию, – съязвил Ухоздвигов, раскуривая папиросу.

Генерал Сахаров, доселе молчавший, не утерпел и сделал замечание Новокрещину:

– Вот так всегда у вас, Сергей Васильевич.

– Что вы имеете в виду: «так всегда»? Хотел бы я знать, Владислав Петрович, что лично вы думали о России, когда в августе четырнадцатого немцы пережевывали ваш корпус в Восточной Пруссии?

– Сергей Васильевич!

– Молчу, молчу, голубчик. Не вы один составили тот позорнейший оперативный план прорыва фронта немецкой армии. Были, конечно, Ставка, Сухомлинов и предатель Ренненкампф. Все и вся были!..

Генерал Сахаров, дрожа от возмущения, поднялся:

– Ну уж позвольте, Сергей Васильевич! На том оперативном плане была и ваша подпись! И как мне известно, вы и предложили разработать ту операцию. А вариться в котле пришлось российским солдатам и офицерам.

Генералы разошлись в разные стороны, как бойцовые пехоты.

– Вот вам и Россия, – усмехнулся капитан, пристально взглянув на пулеметчицу. – Бог мой! Старшая дочь Елизара Елизаровича Юскова?

– Ошибаетесь, – усмехнулась Дуня. – Старшая у нас убогая, горбатая. А я ведь не горбатая?

– Да, да! Вспомнил. Вы учились в Красноярской гимназии?

– Нет, училась Дарьюшка. Она была любимицей папаши. А меня звать Дуней – Евдокией. Мы с ней близнецы.

Вошел полковник, и все повернулись к нему.

– Ничего особенного, господа, – успокоил Дальчевский. – Приходил мой ординарец. Есть кое-какие новости. Из Смольного вернулся комиссар. И не один, а с кем-то из военки. Да, вот еще: командиром артбригады назначается наш комиссар, а это значит: офицерский состав будет профильтрован основательно.

Офицеры заговорили о тактике большевиков, об их умении проникать в солдатскую и казачью среду и что бороться с большевиками надо умеючи.

Полковник не поддержал разговора. То, что он сообщил о возвращении комиссара из Петрограда, известно было ему еще до собрания. Но он попридержал неприятное сообщение. И к случаю оно пригодились, чтобы не говорить о своих тревогах и тем более о сотнике Бологове.

«А Коня Рыжего ко всем чертям, пока не поздно!» – это было самое первостепенное и важное, что надо было сделать не откладывая.

VI

Не чуял Ной Лебедь, каким лютым словом поминают его офицеры на совещании и оренбургские казаки в казарме. Он никак не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, кряхтел, как будто кладь вез в гору, скрипела буржуйская деревянная кровать, а небо за окном было таким милостивым и звездным!

«Беда грянет, Господи!» – бормотнул Ной, подымаясь. Пол был холодный, настывший. Натянул валенки на босу ногу, подкинул дров в буржуйку, разжег, посидел, вспомнил, как крестная бабушка Татьяна гадала на Евангелии, взял черную книгу со стола и открыл ее наугад, чтобы потом разгадать тайный смысл прочитанного.

«И если случится найти ее, то, истинно говорю вам: Он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся».

«Какую еще заблудившуюся? – подумал Ной. – Самому бы не пропасть!» И тут же забыл о прочитанном.

Ной еще не поднялся с постели, как прибежали перепуганные комитетчики – Сазонов, Павлов и Крыслов. Так и так, беда! По всем казармам шумнуло, что комитетчики –

доподлинные большевики, а для видимости маскируются, чтоб ловчее запутывать казаков. И с Бушлатной Революцией комитет – лапа в лапу!

– Как быть, Ной Васильевич? От кого отбиваться, если со всех сторон грязь ползет, а кто ее подкидывает, неизвестно.

Ной не подал виду, что самому ему хоть волком вой, до того тошно. Не торопясь натянул брюки с желтыми лампасами, заправил рубаху, обулся, сполоснул лицо над поганым ведром, вытерся выстиранным полотенцем, тогда уже надел китель, глянул на часы. Нажал пальцем одну из трех головок. Отбило восемь часов и семнадцать минут.

– Грязь плывет, говорите? А вы что думали: белыми булками кормить будут нас серые путаники за ответ тайному «союзу»? Еще не так будет! Вижу, как обиходили тебя, Яков Георгиевич, – заметил Ной, глянув на распухший нос и подбитые глаза Павлова. – Дружки Кондратия Терехова?

– Васюха Петюхин, гад! Придрался, будто я у него кисет вечор брал и не отдал, и – пошел! Хоть бы кто поднялся со своих постелей! Ну и я ему тожа дал! Кричит мне: «Под рыжего подложил всех нас? Красные звезды, грит, готовите нам на папахи». А тут и комиссар вошел: «Это что еще такое?! – крикнул. – За какие красные звезды бьешь члена полкового комитета?» Ну, Васюха попер на меня со своим кисетом. А с комиссаром два крепких якоря – матросы те.

Сазонов сокрушенно признался:

– А ведь, Ной Васильевич, как вот я ночесь обдумал

опосля нашего заседания с Бологовым, ежли в корень глянуть: мы за большевиков стоим в Гатчине? Али не так? Стал быть, казаки не зря ярятся.

– Ну а ты как думал, Михаил Власович, когда оказался на Цветочной площадке?

– Да ведь пулеметы у них были, у тех матросов! – вспомнил Крыслов.

– Ну а с чем они должны были нас встречать, хлебом-солью? Чего мутить-то воду в чистом пруду!

Нетерпеливый Крыслов поднялся со стула, выругался:

– А на кой мне... прости господи, быть в комитете? Али мне жизнь прискучила и надо соломинку перекусить? С какими глазами вернусь я к себе в станицу? Ведь станичники спросят: где и кому служили? А вот как пишут от нас: смутность там, твердости нет у новой власти. Как бы ее с тыла не опрокинули. Вот тогда где мы окажемся?

Ной и сам о том же думал. Ответил:

– Я уже сказал, Иван Тимофеевич: про то надо было мозговать раньше. С кем вы? С этой... слово-то, господи прости, на языке не провернуть! У мово Александры Свиридыча в башке всякое упаковывается! С этой, значит, социалистической революцией али за временных? А их успели к тому дню в Петропавловскую крепость спровадить.

– И нас угнали бы туда же, – ввернул Сазонов.

– Ну, сказанул! До министров возвысились, – ухмыльнулся Ной. – Ладно, министры. Вы хоть успели позавтракать?

– В кою пору?

Сазонов вдруг вспомнил:

– Да ведь тогда-то как спрашивали? За Советы мы аль нет? А разе Советы и солдатские комитеты не при Керенском заварились?

– Точно! – поддержал Павлов. – Как же это понимать, если у большевиков тоже Советы? И ЦК партии ишшо, как вот Бушлатная Революция обсказывал. Хто у них за самого главного? ЦК большевиков али те Советы? А теперь ишшо ВЧК объявилось. И в самой Гатчине на станции вагон стоит с матросами от ВЧК.

– Про то спросить надо у комиссара, – уклонился Ной. – Для нас главная задача одна: удержать полк от восстания.

Крыслов опять вскочил со стула. До того комитетчик был непоседливый и ершистый.

– Ни хрена нам его не удержать! Только Кондратий Терехов со своими оренбуржцами шумнет, и полк вздыбится. Помяните мое слово! Тогда при каком интересе останемся!

Павлов ответил:

– При осиновом, Иван Тимофеевич. Перевешают, как иудов на осинах.

Санька – Александр Свиридович, у которого, по словам Ноя, «в башке всякое упаковывается», подживляя огонь в печке, чтобы доварить кашу на завтрак и вскипятить чайник, напомнил о своем совете:

– Бежать надо, покая всех не повязали.

– И в сам-деле, Сань! – обрадовался Сазонов. – Кони при нас, по паре мешков овса кинуть в тороки, и дай бог гладкой дороги!

– По всей России сейчас, скажу, нету гладкой дороги, – сурово отверг Ной. – Никуда не укачем. Разве только в банду какую! Стал быть, одно у нас: удержать полк от восстания и просить комиссара, чтоб посодействовал через тот Смольный распустить полк, как ненадежный.

– В самый раз бы!

– Да разве Бушлатную Революцию уломаешь? Он вить самый ярый большевик, – усомнился Павлов.

Ной Васильевич взопрел.

– Новое заседание почнем, или завтракать пойдете по своим казармам? – спросил.

Успокоившись, комитетчики ушли завтракать. У Саньки подспела овсяная каша – разлил по фарфоровым тарелкам. Посуда-то какая! На таком бы столе да с такой посудой – свадьбу справлять...

VII

– Еще ктой-то идет! – предупредил Санька, слышав шаги по пустому дому. На стук в дверь Ной ответил: «Входите». Нежданные гости показались на пороге: Свиридов, а с ним молодая женщина в кожанке под армейским ремнем.

– Приятного аппетита, товарищ председатель, – грубова-

то, простуженным голосом сказал комиссар, снимая шапку-ушанку.

Ной поднялся:

– Милости прошу к столу – коль в гости пришли! – А сам так и резанул настороженным глазом по лицу женщины: уж не из ЧК ли?

Но Свиридов сбил с толку, представив попутчицу:

– Познакомьтесь, комиссар артбригады Селестина Ивановна Грива, ваша землячка. Если я не ошибаюсь, вы из Минусинского уезда?

– Округа, по-казачьи, – поправил Ной Васильевич. – Из Минусинска, говорите?

– Из Минусинска. Там живет и работает мой отец, доктор Грива.

– Доктор Грива? Слышал, слышал, – буркнул Ной, припоминая. Кажется, есть такой доктор в Минусинске. – Что ж, раздевайтесь и садитесь наших харчей отведать. Вот ждем, когда нас демобилизуют, Иван Михеевич! Время пришло. Потому как даже армии на позициях давно демобилизованы.

Комиссар сказал, что сводный Сибирский полк в настоящее время не может быть демобилизован. Нельзя оставить революционный Петроград без прикрытия с тыла.

– Плохое прикрытие, комиссар, – сказал Ной. – С таким прикрытием, не ровен час, утопнуть можно. Али не знаете, что происходит в казармах? Ведь мы сводные и сбродные. И что ни день, то потасовки. То казаки бьют солдат, то солдаты

молотят казаков. Стал быть – ни ладу ни складу. Развинтились казаки до полной невозможности.

– То, что казаки в полку развинтились, – это мне известно, – ответил комиссар. – Но ведь полковой комитет должен поддерживать дисциплину и не допускать безобразий. И, кроме того, почему комполка установил разное довольствие? Казаки получают больше продуктов, чем солдаты.

– Не так, комиссар. Довольствие получаем одно. Чего мы стоим? Садитесь и за чаем потолкуем, – еще раз пригласил Ной.

– С удовольствием выпью чаю, – сказала Селестина и расстегнула ремень.

Санька достал чашки, расставил, разлил чай и подвинул два стула. Комиссар Свиридов сел, и маузер в кобуре опустился до пола.

– А где сахар? – спросил Ной Саньку.

Санька сверкнул глазами на председателя и нехотя достал жестяную коробку с сахаром.

– Может, каши положить вам? – спросил Ной. – Вот вы, комиссар, говорите, что у казаков богаче довольствие! А про коней-то забыли? У нас же фураж имеется – еще вывезенный с позиций. На каждого коня получаем овес. А ежели не в атаку, то чего в коня овес травить. Вот вам и каша! Овес жарим, толчем, просеиваем, а после кашу варим. Александр, налей по тарелке комиссарам нашего дополнительного харчевания.

Свиридов отказался.

– Вот разве Селестину Ивановну угостите. Она с утра не ела.

– Не с утра, Иван Михеевич, а со вчерашнего обеда. Как в Центробалте с вами пообедала, так и не ела.

– Что ж вы молчали? – возмутился Свиридов. – Я бы уж нашел, где вам пообедать!

Селестина ела Санькину кашу из конских пайков и так-то похваливала! Ной подумал, что она не со вчерашнего обеда, а с позавчерашнего завтрака во рту куска хлеба не держала! Ну и житуха у этих комиссаров! Господи прости, экая подтощала!

– Извините, Ной Васильевич, – промолвила комиссарша. – Хочу спросить: я слышала, будто вы не коренной сибирский казак, а приезжий с Дона, из станицы Качалинской. Я даже не поверила.

– Тринадцать лет как в Сибири, – сказал Ной. – То есть четыре года сбросить надо. На позициях вот пластаюсь. Сбруя оттянула плечи!

– Но вы же знаете, что Совнарком направил в Брест-Литовск делегацию, чтобы подписать мирный договор с Германией? Время сейчас напряженное. Вот если в Брест-Литовске немцы подпишут с нами мир, тогда полк будет немедленно демобилизован и вы разъедетесь по своим войскам, – сказал Свиридов.

– Не по войскам, по станицам, – поправил Ной. – Я, по-

читай, на всю жизнь наелся войною. Мне мир надобен!

– Эт-то в самый раз, Ной Васильевич, – подхватил Санька. – У меня вот детишки растут без отца, казачка моя, должно, иссохла на корню, а у Ноя Васильевича хоша и нету казачки, дак сколько девок теперь подросло? Да и вам, комиссар, тоже надо бы к семье прислониться, если вы из крестьян.

– Не из крестьян, из рабочих.

– А рабочие, те разве без семей проживают?

– Сейчас не до семьи! Впереди у нас мировая революция! Мы не остановимся, пока не выметем со всего земного шара буржуазию и всех капиталистов. Иначе и быть не может.

У Саньки нос повис. Стал быть, не скоро им с Ноем Васильевичем выбраться из военной амуниции! Впереди – мировая еще!

Селестина поблагодарила хозяев за хлеб-соль и особенно за кашу. Санька принял благодарность на свой счет: он ведь варил кашу и заваривал чай!

– А вы не стесняйтесь, – подобрел он, – почаще приходите к нам. Я завсегда утрами варю кашу, а на обед – похлебку или картошку. Два куля добыл в деревне. Так что милости прошу. Да ежли вы, как сказывали, земляки с Ноем Васильевичем, отчего не бывать в гостях?

– Спасибо, спасибо. Обязательно приду, – ответила Селестина и, что-то вспомнив, спросила Ноя: – А это правда, что из вашего рода был Ермак Тимофеевич и что у вас пашка самого Ермака?

– В доподлинности – не знаю. По роду так идет, – нехотя сказал Ной. – А шашка – вот она, с надписью.

Селестина встрепенулась:

– Можно взглянуть? Я ж тоже казачьего роду!

Ной снял шашку со стены и передал в руки Селестине.

Низ ножен шашки на полчетверти отделан золотом с оспинками, – вероятно, здесь что-то было вкраплено, рыжая замша поистерлась. Узорчатая отделка ножен с такими же оспинами, ушко отбито, и вместо него – самоковное железное кольцо для ремня. У эфеса два золотых подкрылка, чтоб рука не скатывалась на лезвие. Эфес костяной, местами выщербленный, с золотым причудливым набалдашником.

– Похоже на голову птицы, – сказал комиссар.

– Голова лебедя, – ответил Ной.

– Почему – лебедя?

– Про то сказано в надписи.

– Вот это шашечка! – восторженно проговорил комиссар.

А Селестина даже в лице переменилась, разглядывая шашку. Ловко вынула из ножен. Крепчайшая, зеркальная сталь в отменном обиходе.

– А вот и надпись, – сказала и прочитала вслух: – «Лета 7083 неембрия благовестна молебна твориша».

– Что это значит? – спросил комиссар.

– В ноябре, следственно, 7083 года от Сотворения мира, как по Святому Писанию, – пояснил Ной и дополнил: – Еще на другой стороне читайте.

Селестина прочитала и на другой стороне:

«Атаману яко Лебядю Яремею Аленину воеводства Астраханска жалует».

– Яремею Аленину? Значит, от Яремея перешла к Ермаку?

– Никак нет. Яремей Аленин – это и есть Ермак. Из Минусинского музея так же толковал один господин. И наша фамилия была сперва Аленины, ну а потом как от шашки прибавилось – Лебеди. В надписи видите: «Яко Лебядю».

– Хорошая фамилия, – проговорил комиссар Свиридов, задумавшись.

Селестина кинула шашку в ножны и передала ее хозяину, раздумчиво проговорив:

– Странно, почему мой дедушка ни разу не сказал об этом? А ведь мы из одной станицы. И он знал, конечно. Мещеряк его фамилия. Григорий Анисимович. Может, помните?

У Ноя скулы отвердели – комиссарша из рода Мещеряка-коннозаводчика, из-за которого немало натерпелся лиха курень Алениных-Лебедей, особенно его дедушка! Вот тебе и большевичка!

– С Мещеряками мы не в дружбе жили, – отрубил Ной. – Богатые с бедными, хотя и казачьего сословия, никогда не сживаются. Линии жизни разные.

– Но мы с вами не будем ссориться? – улыбнулась Селестина. – Да и я не из буржуев. Моя мама, дочь Григория Ани-

симовича, была учительницей в Севастополе. В тысяча девятьсот пятом году за восстание на флоте ее и папу арестовали и сослали в Енисейскую губернию на вечное поселение.

Ной не сразу ответил. Подумал. В ее словах что-то упрямое.

– Да ведь я вас и не знаю. Впервой свиделся, – пожал плечами Ной. – Да и жизнь моя в другом складе проходит. Офицер я. Ну а все офицеры, как вот некоторые говорят, «шкуры и контра».

– Ну, далеко не все! – опротестовал Свиридов. – У нас и на кораблях есть бывшие офицеры, и в армии. Может, и вы еще будете служить Советской власти в Красной армии.

– Ну, про то говорить покуда рано, – ответил Ной. – Мне не дано знать, какой день будет завтра. Хоть и вижу – не с миром ожидается. Чрез всю чехарду, какая повсеместно происходит, видится: нарыв вспухает! А когда он прорвется – одному Богу известно. Вот хотя бы вы, комиссар. Мало ли речей говорили по казармам? А известно ли вам: сколько зерен из вашего жита осталось в головах людей? А может, ни одного зерна не осталось? И сеяли вы напрасно? Вот она какая загадка! Про меня каких слухов не ходит по казармам: и продал полк большевикам, и сам, дескать, Конь Рыжий! Пушай гутарят. Кони, они тоже, комиссар, не задом в атаку идут, а головой к смерти!

– Это вы очень хорошо сказали, Ной Васильевич! – горячо откликнулась Селестина.

Когда ушли гости, Санька, перемывая тарелки, не преминул заметить:

– А ведь взнуздают тебя, Ной Васильевич! Попомни мое слово. Я же тебе говорил, как подсватывалась ко мне с разговорами эта самая комиссарша! А тут вот она, пожалуйста. А что, если она и не землячка тебе вовсе, а как есть все придумала, чтобы зацепить тебя на крючок? Это же большевичка!..

– Не мели лишку! – оборвал Ной, и без того встревоженный разговором с комиссарами. – Казакам чтоб ни одного слова про них! Не было их у нас, и все тут.

– Да она еще завтра придет кашу есть. Она ж, видел, до чего отошчала. А чо? И знашь, на кого запохаживает? Ей-бо, на ту пулеметчицу! Может, они родные сестры? – И, вспомнив более существенное, Санька спросил: – А што ты им не сказал: казаки не будут служить за мировую революцию.

– Другой день сам за себя скажет. Иди посмотри коней, а я в штаб. Чтой-то подмывает меня после вчерашнего. Уехал ли ночесь сотник Бологов?

В штабе Ноя встретили злобным молчанием: ни комполка Дальчевский, ни начштаба Мотовилов, никто из офицеров и даже писарь на его «здравия желаю» и ухом не повел.

В двух пехотных батальонах и того хуже: кто-то успел нашептать выборным командирам, что полковой председатель комитета проводит совещания только с казачьими предста-

вителями, а на серошинельников чихает с высоты седла: таковские! Да и харчуются казаки отдельно, урывая овсишко от конских пайков, меняя его на черной толкучке в Гатчине на стоящие вещи, а потом ездят по окрестным деревням, возвращаясь оттуда с маслом и мясом. А куда пехотинцу на двух подтощалых ногах?..

Хорунжий уразумел: сумятицу и разброд напустили ловкие серые, и никого из них за горло не схватишь, а затылком чувствуешь: злоба за спиной вскипает.

Минуло три напряженных дня...

Путру начальник канцелярии штаба подпоручик Дарлай-Назаров сообщил Нюю Лебедю, что в Петрограде при штабе военного округа проходит экстренное совещание с командирами частей и председателями комитетов. Все уехали в седьмом часу утра в Петроград, а Нюю Дарлай-Назаров сообщил в половине девятого! Надо же так!

Не теряя времени – из штаба напрямиком на станцию. На Петроград шел эшелон с дровами. Ной пристроился на одной из платформ в тамбуре без дверей, на морозе, прохватывающем с ветерком до селезенки.

Только к вечеру отыскал штаб округа, но там и понятия не имели ни о каком совещании!.. Не теряя времени, Ной решил побывать в двух стрелковых полках, на которые особенно надеялся тайный центр, готовя восстание. Надо же «понюхать там воздух».

Завязь вторая

I

Жизнь – река текучая.

Она петляет даже на ровном месте – то бежит еле-еле, то рвется вперед, взбуривая и пенясь на перекатах и подтачивая берега, то застаиваясь в омурах, где всегда сумрачно.

Жизнь Ноя текла тихо, нешумливо в пору детства, и все там было славно и солнечно. Потом шахта в Юзовке, где он был коногоном, ожесточение к шахтному начальству, возвращение к деду с пустыми карманами и смутная, непонятная обида.

Рожденный на Дону, не ведал он в пору детства, что предки его давно уже перечалили Дон своими челнами, обретая новые земли и прозвища чалдонов, и что его собственная река жизни вдруг рванется в страну студеную и неизвестную – в Сибирь до самых гор Саянских, и он прильнет к новой земле, запамятавав навсегда дедовский курень в станице Качалинской.

Сибирь, размашистая и малолюдная, свела его с каторжными и ссыльными, от которых узнал много такого, что в голове от дум стало тесно. И вот война!..

Ной топает по улицам Петрограда в потоках людских рек,

в поисках казармы стрелкового полка за Невой, чтоб переночевать там и прощупать кого-нибудь из малых командиров, разузнать о настроении солдат.

Отыскал двухэтажный каменный дом – еще екатерининская казармушка: часовой возле полосатой будки у железных ворот пропустил не спрашивая.

Нашел дежурного по полку, фельдфебеля, по фамилии Коршунов: нос крючком, глаза маленькие, пронзительные и губы в тонкую скаредную складку, а злобы – кадык подпирает. Ной назвался рядовым казаком Васильевым из сводного Сибирского полка; нельзя ли переночевать?

– Из Гатчины? – наострил крючок носа Коршунов. – Как вас к нам занесло? Приезжали просто в Петроград?.. А! Можешь переночевать у меня в дежурной комнате, – позвал за собою Ноя в каморку, заставленную какими-то ящиками.

Ною не понадобилось выпрашивать, крюконосый Коршунов сам пристал с расспросами: как и что в сводном полку? Выступит ли двадцать шестого?

– Мы тут все, казак, как на горячих углях сидим. Нам нужен запал. Как только подойдут войска из Гатчины, наш полк немедленно попрут на Смольный. Вот тогда мы разделаемся со всеми сволочами – всмятку, в пыль, в прах, ко всем чертям!..

Ной смекнул: ни к чему выдавать себя, он-де не из крупной рыбы и в большой политике не тумкает. А восстанием, наверное, руководить будут офицеры и генералы, и планы

свои держат они в тайности.

– Еще бы! – шипел желтолицый фельдфебель. – Надо вернуть так, чтоб захватить Смольный врасплох, особенно Ленина.

Как бы между прочим Ной поинтересовался: какая же сила противостоять будет со стороны Смольного?

– Какая там сила! – отмахнулся самоуверенный фельдфебель. – Интернациональный полк, в котором что ни взвод, то свой язык и ни в зуб ногой по-русски. Из каких соображений Ленин создал такой полк? Чтоб солдаты друг с другом не смогли сговориться! Головка частей тумкает по-русски, а солдатня – ни бум-бум! Латыши, литовцы, эстонцы, есть и немцы, башкиры и еще какие-то туземцы, черт бы их подрал. Попробуй сговоришься с ними. Раздавить их надо всмятку. Ша-рахнем из артиллерии, захватим Петропавловку, а флот в данный момент свою фисгармонию не выдвинет на Неву!.. Это уж точно, казак. На чем проиграл генерал Краснов?

– Того не знаю, – буркнул Ной. – Я не из генералов.

– Оно и видно, – согласно кивнул тонкогубый фельдфебель, в третий раз закуривая и пуская дым из носа. – А проиграл он, казак, на осени!

– Как так?

– А вот так, на осени! На мокрой осени.

– Склизко было, что ль? – В карих глазах Ноя плескался смех: ну и пустобрех же фельдфебелишка!

– Голова! «Склизко!» Будет «склизко», если Центробалт

сумел провести военные корабли с Балтики в Неву со всеми многоствольными орудиями! Вот в чем штука, казак. Ша-рахнули по красновцам с кораблей, так маменьку-землицу в дрожь кинуло. А если бы Краснов выступил именно сейчас, в январе, другая бы сыграла фисгармония. Большевиков – всмятку со всем ихним разноязыким интернационалом. Ка-а-апут! Красногвардейцами они бы себя не отстояли – точно. А все другие части пойдут за нами, социалистами-революционерами. Вот почему в данный момент самое выгодное время для восстания. Корабли по льду не плавают – раз, в Петрограде голод и холод – два, не вояки, значит. Немцы с Украины подперли – три! Тебе известно: большевики снюхиваются с немцами? Сам Ленин отдает им половину России, а немцы не берут. А почему?

– Кто их знает, немцев!

– А мы имеем точное разъяснение. Хоть Ленин и отдаст им половину России, да ведь они же, немцы, великолепно знают: фисгармония в Смольном с дырявыми мехами. Ни си-пу, ни хрипу. А потому – ждут.

– Чего ждут?

– Да я же тебе, казак, час толкую! – горячился фельдфебель. – Немцы ждут прихода к власти настоящего правительства партии социалистов-революционеров! Но учти, казак, от нас они получают шиш под нос! Призовем на помощь союзников, а это значит – так жиманем кайзеровских битюгов, что они, задрав хвосты, шпарить будут без передышки

до Гринича или дальше!..

– Какого «Гринича»?

– Меридиан такой. Ты бы хоть географию почитал! Или неграмотный? Эх, Сибирь, Сибирь! Каторжные вы там все поголовно – ни грамоты вам, ни настоящей жизни, извечная тьма!..

Ной не обиделся. Мели, Емеля, – твоя неделя. А вот спросить Емелю надо.

– Ну, солдаты как?

– Что солдаты?

– Сготовлены к восстанию?

– Ху, солдаты! Тут разговор будет коротким. Не весь запас золота Российской империи вывезен в Казань, осталось еще и на нашу долю. Ну а если солдатам подпустить, что их ждет нажива, – рвать будут, как дым в трубу. Известная фисгармония.

– Ну а ежли запала не будет?

– Какого запала? – Фельдфебель запомнил, о чем говорил только что.

– Не выступит полк из Гатчины!

– Как то есть не выступит! – уставился фельдфебель едучими глазками. – Или ты не из сводного полка? Что-то ты мне, казак, не нравишься. Не липовый ли? Документы при тебе?

Ной степенно поднялся с ящика.

– Экий ты, фельдфебель, шалопутный! А звание мое – хо-

рунжий; председатель полкового комитета сводного Сибирского полка в Гатчине. Вот мои документы – доверяю, хотя мог бы и не показать. Ладно, взгляни.

Фельдфебель Коршунов еле промигался.

– Вы же назвались казаком Васильевым?

– Встречному-поперечному не называюсь, ни по фамилии, ни по должности, и тайну не выбалтываю, как вот ты мне за час вывернул весь полк наизнанку. А ежели я председатель полкового комитета, стал быть, вся власть в руках комитета! Должен понимать. Более ничего не скажу. Хотел соснуть, чтоб в здравии быть завтра, да разве с таким приварком, каким ваша милость отпотчевала меня, уснешь? Определи меня в казарму. Сей момент.

Фельдфебель кинулся в раскаянье, уговаривал остаться у него ночевать и угостить чайком хотел, да Ной слушать не стал: ушел в казарму.

II

Спят солдатушки на нарах в два яруса, а над ними вполнакала помигивают электрические лампочки, не светом, а словно кровцой льющие на серошинельные горбыли.

Ной горестно смотрел на спящих солдат, как будто они ему близкие сродственники. Оно и есть – сродственники! В одну и ту же землю закапывали в братских могилах!..

Лежал Ной на деревянном ложе нар, положив в изголовье

папаху с шашкой, а глаз смежить не мог – наплывала тревога, подтачивала изнутри, как вода плотину у мельницы. И вроде бы не сон, а явь: увидел себя на гнедом коне – том самом, которого под уздцы вывел с родительского база, а над головою было такое радостное мартовское голубое небо, высокое-высокое, и солнышко жарило во всю раскаленную добела сковородку, сгоняя снега, и вдруг провал, ямина: немецкие легионеры летят в атаку клином, врубаются в полк, полсуют направо и налево, страшно ржут кони, орут чьи-то глотки, как иерихонские трубы, и он, Ной Лебедь, явственно видит здорового немца, как тот, оскалив белые зубы, вытаращив глаза, с палахом над головою, изогнувшись на горячем коне, налетает на старшего брата Василия... Ной кидает своего гнедка на выручку брату, а тут еще один немец – Ной рубанул его со всей силушкой, от плеча до пояса развалил, а брат-то, брат-то, Василий Васильевич, в седле еще, в руке шашка, опущенная поперек луки седла, в левой – натянутый ременный чембур, а головы-то, головы-то – нет!.. Цевкою бьет кровь вверх из шеи, заливая гимнастерку и коня, а головы-то – нету!..

«О господи! Доколе буду видеть экое! – поднялся Ной и долго сидел, прислонившись спиною к столбику, подпирающему второй ярус, откуда слышался мерный посвист спящего солдата. – Век будет видеться кровавое побоище! Хучь бы на малый срок замирение вышло – дых перевести!»

Хоть бы на малый срок...

На другой день Ной столь же не повезло, как и в день минувший.

Где проходит совещание – неизвестно...

Побывал еще в одном стрелковом полку за Невую – такая же чересполосица: ни толку, ни понятия. А про дисциплину и говорить нечего – кто во что горазд! Не войско – цыганский табор.

А было ли в самом деле совещание? Куда уехали выборные командиры с полковником Дальчевским и начштаба Мотовиловым?..

III

В половине восьмого вечера притащился Ной со спецпоездом из Петрограда в Гатчину – злой до невозможности, наполненный, как река в половодье, мутностью.

Сумеет ли он удержать полк от восстания, когда казаки, да и солдаты будто взбесились, раззуженные господами-говорунами?.. Ну а если удержит полк, а в Гатчину припожалуют дивизии из Пскова? Тогда бывшие высокие благородия припомнят и бой под Пулковом, и генеральского коня, а заодно присовокупят комиссара – Бушлатную Революцию: «Ага, скажут, в одной упряжи с большевиками ходил? На веревку его!»

Не расстреляют и не зарубят – повесят на осине, как сказал комитетчик Павлов.

Но отступать ему некуда, да и поздно, одной линии надо держаться.

С улицы увидел, что одно из окон закрыто изнутри досками – ставень, что ли, сделал Санька? Второе светилось.

Постоял возле дома на углу переуллка к станции. Темень. Небо затянуло серыми овчинами облаков, мороз чуточку сдал, как это всегда бывает перед снегом.

Прошел в обширную ограду, обнесенную каменной стеною, – ворот не было: кто-то из местных жителей утащил на дрова. Поднялся на высокое крыльцо – дверь на запоре. На стук вышел Санька.

– Возвернулся? Слава богу!

– Чего на запорах сидишь?

– Скажу потом.

Прошли просторную веранду с выбитыми стеклами в рамах, еще четыре пустынных и гулких комнаты, не пахнувшие жильем, а тогда уже в обжитую, свою – теплом напахнуло и сосновыми щепами. Натасканы доски, ручная пила на стуле, гвозди, молоток, топор, а на окне – сработанный Санькою ставень.

– Чудишь, что ли?

Санька, в гимнастерке без ремня, разморенный теплом, убрал топор, пилку, доски. Сказал:

– От такой чудости, какая заварилась в полку, очень просто на небеси преставимся. Ага! Пущай теперь стреляют через доски!

– В кого стреляют?

– В твою башку сперва, потом в мою, – и, чтоб не манежить Ноя тайною, выложил: – Покель ты два дня был в Петрограде, тут такое дело развернулось, ого!.. По казармам вчерась плакаты появились против тебя. Три сорвал – покажу. А сегодня, когда чистил твою рыжего, подошел ко мне в конюшне казак из оренбургских. Молодой еще, из необстрелянных. Фамилию не назвал. Упредил: «Ты меня не видел, и я тебя тоже. Этот, – спрашивает, – генеральский конь?» А я ему: «Этот, а что?» – «Председателя, значит?» – «Ну, председателя». Он помолчал, оглянулся и с хитростью так: «Стенька Разин, – grit, – казаков на бабу променял, а твой председатель за генеральского жеребца продал большевикам весь полк». Ну схватил его за грудки, а он заверещал, без-усик: «Не бей, – бормочет, – скажу, что знаю. По мне, – го-ворит, – хрен с ним, с твоим красным хорунжим, на кого он нас променял. Домой бы живым уехать. А тут такое дело за-варивают – на тот свет сыграешь. Скажу, – говорит, – по сек-рету: вчера ночью проходило тайное совещание доверенных казаков оренбургской сотни с офицерами, а у кого – неиз-вестно. Токо не в полку. Офицеры из Пскова приехали. На совещании будто решили: полк восстанет двадцать шестого, в субботу. А до восстания сговорились казаки-оренбуржцы прикончить председателя, а потом комитетчиков. А жребий вытянул хлопнуть его поручик Хомутов. Живет с оренбург-скими в девятой казарме».

Одно к одному! Тучи метутся, метутся по небу, а все в одну сплываются!..

– Та-а-ак! Поручик Хомутов? Знаю его.

– Дык не признается же! А тот казакишка, который выдал, так-то вихлял: «Если, – говорит, – назовешь меня – в морду плюну: знать тебя не знаю и никаких разговоров с тобой не имел».

Ной повесил шашку на гвоздь, вбитый над кроватью, где висел фронтной карабин с побитой ложею, разделся, кося глазом на окно в переулок, еще не заставленное, а Санька показал сорванные с казарм плакаты на серой бумаге.

На одном из них крупными буквами:

КАЗАКИ! КОНЬ РЫЖИЙ – ПРЕДАТЕЛЬ!

**ПРОДАЛ ВАС БОЛЬШЕВИКАМ
ЗА ЧЕЧЕВИЧНУЮ ПОХЛЕБКУ,**

ЗА ГЕНЕРАЛЬСКОГО КОНЯ,

ЗА ДОЛЖНОСТЬ КОМАНДИРА ПОЛКА!

СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЮ КАЗАЧЕСТВА!

На втором такими же буквами:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛКОВОГО КОМИТЕТА —

ТАЙНЫЙ АГЕНТ ВЧК!

БОЙКОТИРУЙТЕ РЫЖУЮ СВОЛОЧЬ!

Третий, совсем свеженький, и еще злее...

У Ноя от этих плакатов морозом подрало по спине, даже в затылке боль появилась.

Значит, все было разыграно как по нотам. Начальник канцелярии Дарлай-Назаров не сказал, где проходило совещание и кто вызывал, — ищи ветра в поле!..

— Разве не был на совещании? — спросил Санька.

Ной поведал, как над ним «подшутил» Дарлай-Назаров, но...

— Не напрасно съездил. Побывал в двух полках за Невой. Разузнал кое-что.

Санька наострил уши:

— Ну и как? Сготовились там к восстанию?

Ной чуток подумал. Санька есть Санька, да и комитетчикам не скажешь про разговор с фельдфебелем Коршуновым.

— Сготовились. Только в обратную сторону. За день раз-

делаются.

У Саньки рот раскрылся:

– Дык что же это, а? На стрелбенье полк толкают?

– Бывшим благородиям не жалко наших голов. Спыток – не убыток. Не свои головы сложить.

– Эва-ан ка-ак! До чего же хитрущие серые, а?!

– Наторели жар загребать чужими руками. Пускай своими попробуют.

– Ох и голова у тебя, Ной Васильевич!

– Варит еще, чтоб серые на кривой кобыле не объехали.

– Оно так! – согласно кивнул Санька, вспомнив о своем, более существенном: – Язви те в почки! Из-за этой сумятицы три дня не был на свиданке у своей крали-телефонистки. Хучь бы на часок сбегать, а?

– Экий ты вихлючий кобель! У тебя вить мальчонка растет, девчушка, да и Татьяна твоя такая выглядистая! Сколь раз толковал: душа не шуба, не выдаст каптинармус новую. – Взглянув на плакаты, брошенные на кровать, Ной помрачнел. – Шутки оставим, а то и в самом деле на небеси преставимся.

– Ставень доделывать?

– Одевайся, лети за комитетчиками. По одному подымай их, да тихо, смотри. Подхорунжему Мамалыгину скажи от меня, чтоб сотню енисейцев держал в боевой готовности. Из батальонов позови Ларионова и Карнаухова.

Санька понял: паленым напахнуло! Моментом оделся.

– Ты хоть досками покуда заставь окно, – напомнил Ной.

– Лети!

Не успел Ной снять китель, чтобы умыться после дороги, как услышал голос Саньки: «Стой, гад! Стреляю!!!»

И выстрел – бах!..

Ной за карабин – и вон из комнаты, оставив дверь распахнутой. Выбежал на веранду и возле открытой двери на крыльце увидел Саньку с наганом.

– В кого палишь?

– Не вылазь! – оглянулся Санька. – Двое, кажись, прячутся за сортиром. Один убег в ворота.

– Что приключилось?

– Дык вышел я... – зашептал Санька. – С веранды увидел. Идут трое. Кто бы это, думаю? В папах. Шашек не видел. Пригляделся – человека тащут. Ого, думаю! Духовито. Когой-то кокнули, а к нам в ограду несут. Выскочил на крыльцо. Они как раз подошли к гаражу. Один ворота стал открывать. Я им: «Стой, гады! Стреляю!» Пальнул без прицела. Бросили и бежать – один возле каменной стены проскочил в ворота. Двое, видел, за сортиром схоронились – ждут, гады, когда на крыльцо сунуть.

Саженья в пятнадцати от крыльца возле белокаменного гаража, где бывший владелец держал автомобиль, Ной увидел на снегу что-то черное. Густо сыпал снег, да и ночь к тому же – не разглядишь. Вспомнил, что за уборной кирпичная стена разворочена. Быстро побежал туда с карабином напе-

ревес, и Санька за ним. Следы вели по занесенным снегом кирпичам в соседнюю ограду, а оттуда можно убежать в переулок.

– Ушли, гады! Мне бы надо прицельно бить, а я чтой-то раздумывал. Офицерье выиграло, ей-бо! Кого они прихлопнули?

А вот и жертва в снегу – еще живая! Подтягивает ноги и мычит, мычит. Женщина!.. В кожанке, простоволосая, из рта кляп торчит – шерстяные перчатки.

– Та самая большевичка-комиссарша Селестина Грива! – ахнул Санька. – Знать, почалось! Живая еще! Теперь жди, возвратнутся, чтоб нас вместе с ней прикончить, истинный Бог. Швырнут гранату, и кадут нам!

– Не болтай лишку! – оборвал Ной. – Бери мой карабин, перейди переулок к дому с палисадником. Заляжешь там. Если подойдут к нашим окнам с оружием, стреляй без предупреждения!

– Понесешь ее? Окно заставь!

– Ладно. Через час сменю тебя.

А снег сыплет и сыплет! Заметает стежки-дорожки и волчьи следы бывших благородий.

Тихо...

IV

Не думал Ной, что ему когда-нибудь доведется нести

большевичку-комиссаршу на руках в комнату, не чуя тяжести: весу в ней пуда три или того меньше.

Она была без сознания – обмякла, валилась со стула и голову не держала. Руки туго скручены за спиной шерстяным шарфом. Ной развязал, и они упали как плети. Ни живинки в теле! Осмотрел ее – ни на голове, ни на кожанке не видно пулевой раны, но губы и нос в кровь разбиты, подбородок и шея в густых подтеках. Подвинул стул вместе с нею к кровати, расстегнул хромовую кожанку, освободил грудь – ремня не было, а след от него есть: сняли вместе с кобурой пистолета. Под кожанкой – шерстяной свитер, облегающий тело, с тугой резинкой, сдавливающей шею. Ной смочил конец полотенца в холодной воде и осторожно вытер разбитые губы Селестины, нос, подбородок и шею, оттянув ворот. Глаза ее были крепко зажмурены, будто Селестину поразила молния. Дышит ли? Губы теплые, но ухом не уловил дыхания. Призвав на помощь все свои фронтовые познания по оживлению контуженых, Ной сообразил, что надо применять принудительное дыхание, как это делали санитары. Моментом стащил кожанку, бросил на кровать ординарца и через голову снял свитер, вздыбив стриженные черные волосы. Под свитером – один лифчик. Ну и ну! Докомиссарила – на ночь тело нечем прикрыть. Должно, так и спит в свитере, душенька мятущаяся. На шее синюшные кровоподтеки – душили, стервы! А шея тонкая, девчоночья, выпирающие от худобы ключицы, и ребра можно пересчитать под кожей.

Не раздумывая, Ной взял ее за кисти рук и – вверх-вниз-вверх, вниз, нажимая на впалый живот. Появилось дыхание – трудное, вздох, и на губах проступила розовая пена. Вверх-вниз-вверх, вниз, покуда не открыла глаза – блуждающие, бессмысленные, круто выписанные брови супятся. Голова болит, значит. Снова смочил полотенце, тщательно обтер рот Селестины, налил из холодного чайника воды в кружку, разжал зубы, лил воду в рот, но она тут же выливалась по углам губ, смешанная с кровью. Потом Селестину стало тошнить, икота напала, дыхание вырывалось с хрипом. Он снова дал воды – начала глотать, трудно, будто не воду, а камни.

Смущала ее нагота, впалый живот; на правом боку след от пулевой раны – давнишний, с розовой кожицей. Надо ее чем-то прикрыть – негоже смотреть на голую.

Сдернул одеяло с кровати Саньки и укутал им Селестину. Принялся заставлять окно – доска к доске, чтоб щелей больших не было. Быстро управился и присел подшуровать печку – комната выстыла. Оглянулся. Селестина смотрела на него осмысленным, упорным взглядом. В сознание пришла, слава богу... Пущай отдыхается. Чего доброго, подумает еще, что это он ее душил и притащил на истязание в свою берлогу!..

Селестина смотрела на него все пристальнее, злее, потирая рукою шею...

– Опамятовались? – сдержанно спросил Ной.

Ненависть искривила ее лицо, губы передергиваются, рука замерла на шее.

– Не смотри так. Я тебя не душил.

Ни слова.

– Не помнишь, кто тебя караулил?

Тот же взгляд...

– Опамятуешься, вспомнишь. Офицерье выиграло, будь они неладны. Восстание думают поднять, гады!

– Восстание?.. – тихо переспросила Селестина, все еще ничего не понимая. – Какое восстание?

– Нашего полка и артбригады, – ответил Ной. Поднял один плакат с полу, показал Селестине: – Вот погляди, как меня разрисовали.

Она уставилась на плакат, долго и трудно вчитывалась, машинально растирая шею.

– Горячего чаю бы, – вспомнил Ной, суется. – Сейчас поставлю чайник. Живо скипит.

Селестина глазами повела по комнате, что-то напряженно припоминая, массируя шею, задержала взгляд на своей кожаной тужурке и свитере и тут обратила внимание на одеяло, кутавшее ее тело. Ной заметил, как она вся сжалась, и медленно, через силу спросила:

– Что со мною?

– Того не могу знать, Селестина Ивановна. – Ной неторопко рассказал о происшествии.

– Ничего не помню. Голова болит, и слабость такая... Все,

все болит...

– Растирайте шею с боков, чтоб кровь прилила к голове. От удушья помогает. Вот разболок, то исть раздел – свитер снял: ворот шибко тугой. Не обессудьте – как-то надо было привести в чувство.

– Сейчас мне лучше... только туман, туман, голова болит... шла на станцию к поезду... должна была уехать в Петроград... помню, задержалась на углу переулка возле вашего дома. Кого-то увидела. Да, да! Я кого-то увидела возле окон дома. Но – кого? Никак не могу вспомнить. И потом сразу удар в голову с затылка, а дальше провал. Ничего не помню.

– Оружие было при вас?

– Оружие? Да, да! На ремне в кобуре – браунинг.

– Нету ремня. А на голове что было?

– Солдатская папаха.

– Нету. Только вот варежки и шарф еще – руки были связаны. Ординарец подоспел вовремя...

Гром оглушительного удара в окно не дал договорить Ною. Зазвенело разбитое стекло, и доски с грохотом полетели в комнату. В этот же миг хлопнул выстрел.

Ной одним махом подхватил Селестину вместе с одеялом, посадил на пол возле кровати, быстро проговорив:

– Не подымайсь!

За карабин – и только дверь стукнула.

Из разбитого окна в комнату торчала березовая жердь; густо тянуло холодным воздухом.

Санька не оплошал. По его словам было так:

«Сперва мимо дома с улицы в переулочок прошел один офицер в папаше, руки в карманах шинели, в сапогах. (Ты как раз заставлял окно досками.) Свет на него падал из окна, когда он топтался возле дома да оглядывался. Взял иво на мушку, жду, когда пистолет подымет. Гляжу – пошел дальше переулком. В разведку приходил, значит. Лежу в палисаднике, жду. В снегу я хорошо окопался. Долго никого не было. Думал – не придут. Ноги пристыли, а – терплю. Вижу – идут, гады. Втроем. Снег сыплет – издали не опознать. О чем-то разговаривают. Один тащит жердь. Ну, догадался: окно вышибать. Эге, думаю! У одного наган в руке, явственно, у другого каменюга не каменюга. Что бы такое могло быть, сообщаю. Который с наганом – отошел к углу, чтоб смотреть по переулку и улице, а этот, у которого што-то непонятное в руке, стал боком к окну. Тут я и догадался. Связка гранат! Вот они, глянь, натуральные, это ж надо, а?! Рвануло бы на полдома, истинный бог!.. Ну, держу его на прицеле. Хотел сразу хлопнуть, да потом как докажешь, что к нам гранаты собирались закинуть? Как токо другой шарахнул жердью в окно, тут и я влупил тому, с гранатами, – рукой не махнул. Этот с жердью кинулся к дому. Пришил его моментом, а тот скрылся за углом. Слышу – стреляешь. Ага, думаю, подоспел Ной Васильевич!..»

Двое убитых в переулочке возле дома, третий – в улице...

Ной погнал Саньку за комитетчиками и казаками подхорунжего Мамалыгина.

Когда Санька убежал, Ной тщательно осмотрел убитых, взял револьверы, документы, подобрал связку гранат. Офицера Чухонина Санька сразил в голову. Рисковал... А если б промахнулся? Второй лежал у стены дома, убит был пулей в грудь. Скрючился, ноги подтянул к животу. Лицо незнакомое. Офицер из Пскова, пожалуй. Третий, что уткнулся в снег на улице от меткой пули Ноя, – начальник канцелярии подпоручик Дарлай-Назаров.

Ни в переулке, ни в улице – ни души. Собаки всполошились по оградам, но никто из жителей не вышел. И ни одного в черных окнах. А ведь не спят. Безоружные – вечные пленники вооруженных и в вечном страхе перед ними.

Подошел к окну. Переплет рамы выбит – голову просунуть можно, по краям осколки стекла, холоду натянет в комнату. Жердь не стал убирать – вещественное доказательство! Выглянул из-за угла – идут улицей люди. Вдалеке так. Явственно – не казаки!.. Комитетчикам еще рано. Санька не успел добежать до казарм. Кто же это? Случайные или... В папах, шинелях. Офицеры! Снег перестал – хорошо видно. Остановились на середине улицы возле убитого подпоручика Дарлай-Назарова. Разговаривают.

Подбежал к окну, крикнул в разбитую шибку:
– Селестина! Живо под кровать! Кожанку спрячь. Еще офицеры идут!

И – прочь от окна. Хотел махнуть в палисадник, но сообразил, что офицеры будут искать, где была засада. Куда же? Нельзя уходить. Что-то они предпримут, паскуды? Ага! Заплот возле дома с палисадником. Перекинул карабин со связкою гранат на ту сторону, ухватился за почернелые доски и моментом перелетел в ограду. Присел возле заплота – хорошо просматривается дом, перекресток улицы и переулка, и не так далеко – все будет слышно.

Хоть бы Селестина спряталась! В окно будут заглядывать. Идут! Скрипит снег. Скрр, скрр, скрр! В сапогах. Узнал полковника Дальчевского – высокого, поджарого, при шашке и в белеющей смушковой папахе, а с ним – начштаба Мотовилов, толстый генерал Новокрешинов, ну и ну! Головка! Кто же четвертый? В бекеше и шапке?

Карабин достал из снега, а связку гранат не стал искать – не до них.

Офицеры подошли к убитым. Первым начал разговор Дальчевский, нарочито громко, чтобы в доме слышно было.

– Товарищи! Еще двое убитых! Хорунжий! Хорунжий! – орет Дальчевский в окно. – Ной Васильевич! Или кто там? Ординарец!

Из дома никто не ответил. Кричи еще, сволочное отродье!

– Где они могут быть?

– Умелись за комитетчиками! – По голосу узнал Мотовилова.

– Какого черта, господи! – ругнулся третий голос. Гене-

рал, кажись. — Не ломайте комедию. Картина налицо. Влипли офицеры. Вопиюще влипли!

Ной видел, как Мотовилов подтянулся по стене к окну, раздался звон стекла, и через некоторое время:

— Никого, Мстислав Леопольдович! Смылись.

— Какое смылись! — зло ответил Дальчевский. — Операцию провалили господа офицеры и сами погибли. Рыжая сволочь поднимет казаков.

Незнакомый голос сказал:

— Вот к чему приводит непродуманность. Если бы господа офицеры не потащили комиссаршу в ограду, ничего бы подобного не случилось.

— Они налетели на нее случайно, Кирилл Иннокентьевич, — оправдывался голос Мотовилова. — Она же опознала Голубкова.

— Оставим, господа, — сказал генерал. — Надо что-то предпринять. Прежде всего офицеров предупредить. Рыжая сволочь среди казаков имеет авторитет, да еще матросов призывает на помощь.

— Комиссар не вернулся из Центробалта, — сообщил Мотовилов. — А за матросами Конь Рыжий не пойдет. Казакам это не по ноздрям.

— Жаль Голубкова, — сказал полковник Дальчевский.

— Что с ними делать? — спросил генерал.

— Пусть остаются, — ответил Дальчевский. — Мертвые — не свидетели. Не все еще проиграно, тут темное дело, не сра-

зу распутают. Если займется ЧК, что они могут выудить? Офицеры тащили девку насиловать, нарвались на хорунжего, бросили и потом вернулись, чтобы убрать свидетеля – самого хорунжего. Ну, призову к порядку офицеров, чтоб впредь держали себя достойно и не охотились за красотками. И – все!

– У Голубкова могут быть при себе документы, – сказал генерал.

Мотовилов принялся обыскивать убитого, предупредив:

– Смотрите в улицу, Сергей Васильевич. Одного не могу понять: кто их перестрелял? Не из окна же, понятно! Попали в засаду. А если это так, кто предупредил Рыжего? И кто был в засаде? Чухонин видел, как хорунжий заставлял окно досками. Иначе бы он не повел офицеров. Засада была где-то здесь.

Документов у Голубкова не было – карманы вывернуты, все встревожились.

Человек в бекеше отошел к углу дома, а Дальчевский, Мотовилов и генерал Новокрешинов подошли к палисаднику.

– Отсюда стреляли! – сказал Дальчевский. – Видите? Лежал один. Рыжий послал ординарца в засаду.

– Позвольте, Мстислав Леопольдович, – возразил Мотовилов. – А кто же убил Дарлай-Назарова на улице? Ординарец не успел бы. Был еще кто-то в ограде. Мне лично весьма подозрительно: почему на два дня задержался в Петрограде хорунжий? Не был же он в военной Смольного! А где? Один

ли вернулся? Неизвестно. И почему не с пассажирским поездом? Вот в чем вопрос. Если бы он в семь вечера подъехал с пассажирским, как его поджидали Чухонин с Тереховым, далеко бы не ушел.

У Ноя аж в затылке жарко стало от этих слов Мотовилова. Вот оно как было разработано, а? Лежал бы теперь где-нибудь возле станции, если бы не опоздал к поезду в Петрограде. Везет ему, господи!

– Казаки идут! – крикнул человек в бекеше от угла дома.

– Надо уходить, господа. Кирилл Иннокентьевич, побыстрее! Нас здесь не было.

Это голос Дальчевского...

Ной Васильевич не знал, что и предпринять. А что он мог поделаться? Ничего! Их здесь не было!.. Ловко умыслил, сволочное отродье! А где свидетели, что они были здесь? Он, хорунжий, прятался за заплотом. Сам себя выставишь на посмеище. А тут еще гранаты не отыскать – роет, роет снег, едва нашел. В кителе и без папахи пробрало холодом, да ничего, отогреется. С той стороны заплот как будто был ниже, или снег там утрамбован ветром, а с этой Ной увяз по пояс, никак не перепрыгнуть. Побежал в ограду – собака на цепи выиграла: рвет во всю глотку, чтоб ей задохнуться. Еще незадача – калитка и ворота на замке. Вскочил на завалинку, и по ней через заплот в сторону палисадника.

V

Казаки, казаки – одновойсковики енисейские.

Комитетчики тут же.

Санька сбегал в дом за бекешей и папахой хорунжего. Селестина пришла.

Из офицеров – никого...

Ной обсказал про недавнее событие. Благо, росту был чуток ниже колокольни, видел всех от угла дома. Про поездку в Петроград – не зря съездил. Стрелковые полки не восстанут, хотя офицерье и расшатывает их, да вот самим солдатам не нужно восстание: со дня на день ждут, когда будет подписан мир с Германией, чтоб по домам разъехаться. И не пойдут на Смольный, определенно, потому как Советская власть дала им землю, а так и буржуев при большевиках пихнули.

– Ежели мы двинемся на Петроград, – гудел Ной, – горячо будет. Которые полки шатаются – поплывут на нас со штыками наперевес, а тут еще красногвардейцы – весь Петроград вздыбится. Это уж точно! Моряки Балтики шарахнут из орудий. Имеются таковые. Питерцы, как один, поголовно все подымутся на защиту Советов и революции. Думайте, казаки! Думайте, пока не поздно.

Сказал про плакаты, кто их рисует и кому выгодно раздавать полковой комитет – сами с усами, морокуйте!..

– Что произошло у дома – видите. Есть ли среди убитых

казак или солдат? Офицерье взъярилось, чтоб к восстанию шарахнуть полк через сумятицу в головах! Думайте, казаки, думайте! Своим умом живите. Один раз я вас призвал к бою с немцами, чтоб вырваться из клещей, и это был наш подвиг за Россию. Сегодня я вас призываю к миру, чтоб держались плечом к плечу, а не слушались баламутов от серой партии. Да и партии у них цельной нету. Есть которые зовут себя правыми, другие левыми, а посередине – пустошь! Тут без подсказки ясно, куда они гнут. Но просчитаются благородия!

Казаки орали в сотню глоток, понося заговорщиков-офицеров. Дюжий подхорунжий Афанасий Мамалыгин, из Минусинского округа, вызвался охранять хорунжего Лебеда дено и нощно.

– Я не царь – чего меня охранять, – отмахнулся Ной. – Сами себя сберегите. А я в обиду себя не дам и на погибель никого не позову, пока жив-здоров.

Пришли люди из трибунала и уполномоченный ВЧК, назвавшийся Карповым. Попросили разойтись всех по казармам.

Неохотно, шумно казаки мало-помалу разбрелись. Остались комитетчики – Сазонов, Павлов, Крыслов, Карнаухов и Ларионов. Селестина отозвала Ноя в сторону, спросила:

– Почему вы ничего не сказали про офицеров, которые потом пришли и кричали в окно?

Ной тихо спросил:

– Видела их?

– Я? – запнулась Селестина. – Вы ж мне крикнули...

– То и оно, не видела! И я прятался за заплотом да слушал, про что они гутарили.

– Сказать же надо!

– Погодь, не поспешай в рай, Селестина Ивановна, не пришло еще. Живые покуда. Кто будет свидетелем, кроме меня, что офицеры были здесь и такой-то вели разговор? Нету свидетелей! Стал быть, навет. На кого сыграет? На их сторону. За руку не схвачены – не воры. Вот эти, которых упокоили, схвачены. Да мертвые не дают показания!..

– Но я должна сообщить о полковнике Дальчевском. Я его знаю. В девятьсот пятом году в Красноярске...

– Командовал сотней карателей, – досказал Ной, оглядываясь на трибунальщиков. – А свидетели где? А может, тот был Иван Иванович, а этот – Мстислав Леопольдович!

– ЧК затребует документы из жандармских архивов.

– Откуда?

– Из Красноярска.

– Господи прости! До Бога далеко, до Красноярска еще дальше. Время ли? Тут момент играет. Ни лишнего слова, ни шагу в кусты. Огонь только разгорается – тушить надо умеючи. Сами можем сгореть. Вот эти казаки, какие прибежали сюда, за мной пойдут. А другие? А два полка в Петрограде? Куда они шатнутся? Офицерье у них верховодит. Запала ждут. То и оно! А что произойдет в Пскове завтра? Известно

мне или тебе? Иди с ординарцем, чаю попей. Я тут останусь с трибуналами и комитетчиками. Тебя сейчас спрашивать не будут.

Ной даже и не заметил, как невзначай перешел в разговоре с Селестиной на «ты», чему и она, впрочем, не удивилась.

Трибуналы выслушали показания Ноя и Саньки, осмотрели место недавней трагедии, трупы, засаду Саньки, вымеряли шагами расстояние от полисадника до окна и от ворот ограды до убитого Дарлай-Назарова, приказали убрать тела и пошли в дом.

Карпов закурил и поднес Ноем портсигар:

– Угощайтесь, Ной Васильевич.

– Некурящий.

– Из Минусинского уезда, слышал? Знаю ваши края – отбывал там ссылку. Вы меня не узнаете?

Ной быстро взглянул в лицо говорящего: коренастый, узолицый, с бородкой – вроде не видывал.

– Впервой вижу, извиняйте.

– А я не забыл, как вы меня привязывали к бревнам салика перед Большим порогом. Забыли про Тоджу и Урянхай?

– Господи помилуй! – ахнул Ной. – Земля-то, она круглая, выходит.

– Выходит так. Но сейчас нам надо совместными усилиями удержать полк от восстания, а не салик с бревнами. Это немножко потруднее. На Дону восстали казаки, слышали?

– А как в Брест-Литовске? – спросил Ной.

– Пока ничего определенного. Немцы затягивают переговоры.

Вызвали Дальчевского и Мотовилова. Как же они возмущались преступлением офицеров! Хорунжий молодец, что сумел скараулить преступников.

– Подобных офицеров я лично пристрелил бы, как собак! – яростно сказал Дальчевский и, обращаясь к Селестине Гриве, склонил голову: – Виноват перед вами, товарищ комиссар артбригады!

– Я теперь не комиссар, господин полковник, – перебила Селестина Грива. – Комиссаром назначен товарищ Карпов.

Лицо Дальчевского будто отвердело. Вот так сюрприз! Он, Дальчевский, впервые о том слышит. Как же люди Мотовилова не развели?

Склонив голову перед Селестиной, Дальчевский еще раз принес свои извинения за то, что в его полку находились такие мерзавцы.

– Мне стыдно, поверьте, стыдно!

Селестина покривила вспухшие губы, но смолчала. Наказ Ной помнит. Ни слова лишнего. Она видела, как Ной уважительно разговаривал с Дальчевским и Мотовиловым, хотя карие глаза его будто дымились от сдерживаемой ярости.

Карпов и трибунальцы ушли вскоре после Дальчевского с Мотовиловым, и с ними Селестина Грива.

Комитетчики еще посидели у председателя, повздыхали, да Ной спровадил их, напомнив: завтра – суббота, 26 янва-

ря!...

Остались вдвоем.

– Ну пятница выдалась, будь она проклята! – ругнулся Ной, пошатываясь. – Коня и того можно уездить.

– Суббота началась, не пятница, – поправил Санька, до-
полнив: – Двадцать шестое января!

– Двадцать шестое?! – вздрогнул Ной, словно Санька стегнул его плетью. – Живо спать!

VI

Метель свистит, поет, сыплет снегом, январь щелкает зубами, целует в щеки до розовости, упаси бог, до белизны; хватает за нос, губы твердеют; матросу Ивану Свиридову – неугревно в суконном бушлате, в старых ботинках с подковками, маузер оттянул плечо. Вместе с ним на перроне матросы из отряда, охраняющего станцию Гатчина и доглядывающего за сводным Сибирским полком.

Поодаль от Свиридова, недалеко от продовольственных складов, бывших помещений станции, засыпаемых снегом сверху и с боков, стоит Ной, в бекеше, под ремнями, припашке, в белой папахе, а за его спиной – конь под седлом.

Матросы под свист метели переговариваются:

– Гляди, Иван, Конь Рыжий как вкопанный. Стоит и стоит. Чего он тут пришвартовался?

– Как бы этот Конь, братишки, не дал нам сегодня копы-

тами, – бурчит Свиридов, пританцовывая на одном месте. – Это же не казаки – чугунные якоря. Буза с ними. Тут может очень просто заваруха произойти. Я никак не мог разузнать, по какой причине на семь вечера назначен митинг. И хорунжий вихляет: казаки, говорит, думают круг собирать. Врет, Рыжий! В Луге бузят минометчики, в Пскове зашевелились эсеры, а в Суйде утром женский батальон станцию захватил, и ревкомовцев перестреляли, сволочи. Вот в чем штука!

– Да мы же были там позавчера, – сказал один из матросов.

– Позавчера – не сегодня. Та командирша батальона стервой оказалась. Под большевичку играла, гадина. И вот, пожалуйста, перещелкали ревком и станцию держат.

– Да ведь матросский отряд прошел в Суйду! Или они там не разделились с бабами?

– Все может быть.

– Такого не бывает, комиссар!

– Всякое бывает, братишки! Если бы наши разогнали их там – было бы сообщение. Кто на телефоне?

– Сыровцев.

– Идите узнавайте. Один кто-нибудь.

– Надо звонить в Смольный!

– Зачем? И так ясно. Приказ получен: подготовить полк к бою.

– А что полковник?

– Полковник кивает на комитет, а комитетчики – на штаб.

И вот собирают митинг. Так что нам, братишки, надо будет собраться в кулак.

– Уложить Коня Рыжего до митинга – и, порядок на вахте!

– Не один Конь Рыжий в полку. Эсеров надо бы давно вернуть под пятки. Я говорил Подвойскому: шатается полк, эсеры раскачивают. Вздул меня. Мы, говорит, послали тебя в полк проникать вглубь казачьей массы и разоблачать махинации эсеров. А у этих краснобаев правых и у меньшевиков платформа самая подходящая для казаков! Проникни!

– Лбы!

– Дубовые!

– Чугунные!

– Конь Рыжий, кажись, ждет поезда из Пскова, – сказал матрос.

Комиссар поглядел на Ноя:

– Похоже!

– А если подкатят к Гатчине эшелоны с восставшими полками из Пскова и батальонами из Луг и Суйды? – сказал длинный сутулый матрос в шапке с опущенными ушами. – А нас тут сколько? Девятнадцать. В куски изрубят. И батарейцы не помогут – определенно!

– Отдай швартовы и шпарь по шпалам, в Питер, – воркнул комиссар. – Подождем. А на митинг – в бескозырках, для бодрости.

– Без ушей останемся!

Вернулся матрос с телефона.

– Связи с Суйдой нету.

– Та-а-ак. Ясно. Я пойду в стрелковые батальоны, а ты,

Рассохин, подымешь всех по боевой тревоге!

Ветер. Ветер с Финского залива. Злющий ветер Балтики. Снег перестал, и сразу взял свои градусы мороз. Четверть шестого, а темно; январь куцехвостый, не день – ладонь с обрубленными пальцами.

VII

Хорунжий Лебедь не слышит, как матросы костерят его на все корки, догадывается. Пусть ругают, не суперечит тому, поглаживает генеральского жеребца по крупу. Со спины он бело-белый от снега, и грива белая, и седло, а под брюхом все еще рыжий, горячий орловский выродок; на зубах ядрено пощелкивает железный мундштук наборной уздечки.

Ной действительно ждал хоть какого-нибудь поезда из Пскова. Днем из Петрограда промчался эшелон с матросами и как в воду канул. А что, если за бывшим Георгиевским женским батальоном смерти поднялся в Пскове и весь корпус, как и намечал центр заговора? Тогда жди – подкатят! А поезда нет со стороны Пскова, связи нет!

«Экое, господи прости, беспокойное время!» – кричит Ной Лебедь и вдруг слышит: ата-та-та-та! Ата-та-та-та! Ата-та-та-та!..

Горнист штаба взыграл!..

Ной поспешно достал часы, глянул: половина шестого вечера!.. Экое, а! Кто же это торопится к смерти?!

Смахнул перчаткой снег с кожаной подушки, ногу в стремя, метнулся в седло, поддал рыжему шенкелей и ускакал.

А вдали в морозной мгlistой стыни:

– Ата-т-та-та! Ата-т-та-та!

Ревет, ревет медная глотка горниста.

Поспешают казаки к штабу на митинг, поспешают, чубатые.

Штаб размещается в одноэтажном кирпичном доме невдалеке от казарм.

Те, что пришли, взламывают ограду, тащут доски всяк в свою сторону и разжигают костры.

В отсветах языкастого пламени тускло поблескивают стволы карабинов, эфесы шашек, папахи, а из ноздрей казаков – пар летучий. Парят разнолампасники – с бору да с сосенки, сбродные да сводные, из разных войск.

Председатель со своим комитетом обозревают митинг с высоты резного крыльца.

Сазонов, по обыкновению, постанывает:

– Миром бы надо, миром, Ной Васильевич.

– Хрен с редькой, миром! – бурчит Крыслов, готовый хоть сейчас в седло. – Теперь не комитету решать, а всему кругу.

Павлов туда же:

– Известно, кругу!

– У нас еще два стрелковых батальона, – сдержанно на-

помнил комитетчикам Ной. – Окромя того, не запомнят, арббригада рядышком. Вы говорите про мир, а на уме восстание держите. А подумали про то, как могут шарахнуть прямой наводкой с тех платформ? На платформах-то орудия, какие еще в прошлом году лупили красновцев. С кораблей снятые.

– Не посмеют, – сомневается Сазонов. – Потому как Советы же. Как же из орудий?

– А восстанье супротив кого сготовливают серые и офицеры с ними?

– Против большевиков.

Ной оборвал разговор:

– Ладно, тут не комитет – наши разговоры кончились. Перед митингом выступать будем.

– Гляди, матросы прут!

Ной увидел цепочкою идущих матросов, рассекающих черным палахом серобекешное казачье месиво, подбодрился – силу почувствовал.

– Чо они в бескозырках? Мороз давит, а они все в бескозырках, – недоумевает Сазонов, и в голосе слышится нарастающая тревога. Дело-то не шутейное! Как еще обернется! И вслух: – Хоть бы эшелон какой подошел из Пскова.

– Не жди эшелона, Михаил Власович. К разъезду в сторону Пскова выведены три платформы с орудиями.

Матросы в ботинках идут твердо. Маузеры по ляжкам, карабины за плечами, лица сумрачные, каменные челюсти

стиснуты.

– Восемнадцать, – успел пересчитать Сазонов. – А где же Бушлатная Революция?

– При артбригаде, должно, – буркнул Ной.

По всей площади костры, а тепла нету. Мороз, мороз!..

У всех матросов на рукавах красные повязки.

Из штаба вышли один за другим офицеры во главе с Дальчевским и двумя генералами – Сахаровым и Новокрешиновым, и отошли кучкою на правую сторону крыльца. Ной зло оглянулся на них. Вот она, головка-то заговора! Дальчевский, Мотовилов, генералы, но не они будут кричать до хрипоты глоток, на то есть пара сотен оренбургских казаков и уральских богатых станичников. Ни к чему офицерам и генералам пачкаться, не мы, мол, заводили, а вот сами казаки пресыщены ненавистью к новой власти, пусть они и решают, дескать, свою судьбу. Им, казакам, махать шашками и стрелять из карабинов.

Оглянувшись на офицеров и задержав взгляд на молчаливых чернобушлатниках с маузерами, Ной горестно подумал: вот тебе и ковчег, Ной Васильевич из рода Ермака Тимофеевича, разберись, сколь тут пар чистых и нечистых и как с ними поступить? Сбросить ли нечистых в геенну огненную или оставить в ковчеге и плыть в неизвестное будущее России? А какое оно будет, будущее? Того рассудить не мог. А ведь надо со всеми как-то ладить, удержать от бунта. Если вспыхнет восстание, то как бы весь ковчег вместе с предсе-

дателем Ноем не пошел ко дну!

А снизу, из бекешной тьмы, горласто требуют:

– Починай митинг, председатель!

– Чего волынку тянете!

Ной заметил с высоты крыльца, как в отдалении, за ко-
страдами, обтекая площадь, цепью шли солдаты стрелковых
батальонов с винтовками и штыки частоколом чернели за их
спинами. А на возвышении, на трех пароконных упряжках
саней, подъехали пулеметы. Молодец, комиссар!.. Фельдфе-
бель Карнаухов и прапорщик Ларионов с комиссаром Сви-
ридовым шли к крыльцу.

Ной подождал, пока на крыльцо поднялись Свиридов с
председателями батальонных комитетов.

– По чьему приказу, комиссар, казаки окружены воору-
женными солдатами и пулеметами? Что это значит?! – спро-
сил напряженным голосом Дальчевский.

– А это значит, полковник, что Советскую власть опроки-
нуть и порубить в куски не так-то просто!

– Казаки собрались на свой митинг, – не унимался Даль-
чевский. – И они имеют на это право.

– Будет митинг, товарищ комполка, – заверил Свиридов. –
Начинайте, товарищ председатель полкового комитета.

Ной набрал воздуха в грудь и гаркнул:

– Тихо! Скажу так, казаки, шатаетесь вы, служивые, про-
меж двух столбов – белого и красного. И не знаете, на ка-
кой столб опереться. Но я скажу вам. На двух столбах есть

еще перекадина! И ежели шарахнетесь к восстанию, то смотрите, как бы потом не болтаться на этой перекадине. Это я говорю на время завтрашнее. А по тому – думайте, казаки! Каждый пушай всурьез помозгует, допреж того, как решить свою судьбу. Баламутов не слушайте – своими мозгами ворочайте. Мы теперь как вроде в ковчеге плывем морем. И волны нас бьют, раскачивают, и ветры нас хлещут, а нам надо плыть, чтоб потом под ногами почувствовать не хлябь болотную, а земную твердь, и быть живыми! К тому призываю: быть живыми! Потому думайте, когда будете выступать с этого крыльца!

А снизу сильным голосом:

– Не страдай, рыжий, первый будешь болтаться на той перекадине хвостом вниз, как ты есть конь!

– В точку сказано!

Ной узнал голос:

– Чего там орешь, Терехов? Вылазь сюда. Али боишься?

– Эт-то я-то боюсь тебя?! Я т-тебе покажу, рыжий!

Клокоча ненавистью, Кондратий Терехов пробрался на крыльцо, зло глянул на Свиридова с матросами, повернулся лицом к митингу и загорланил:

– Станичники! Братья-казаки! Нас окружили пулеметами и серой суконкой, а мы собрались на свой казачий круг! Это все Конь Рыжий, вот он, продажная шкура! Пушай ответит, таку его... туда... сюда!..

– Без матерков! – оборвал председатель. – Со свиньями

матерись!

– Не затыкай мне рот! Не сегодня, так завтра вздернем на веревке тебя через ту перекладину, про которую орал сейчас.

На крыльцо взлетел черноусый Санька Круглов в бекеше и белой папахе. Без лишних слов трахнул Терехова в скулу и выкрикнул:

– На кого, гад, припас веревку?! Кого вздернешь?!

Схватились за грудки – подкидывают друг друга. Комитетчики еле растащили.

– Так будем митинговать и в дальнейшем иль, может, шашками почнем полосовать друг друга?! – крикнул Ной.

– Пьяных не пущать!

– Под дыхало им, стервам!

– Тиха-а! Кто еще слово берет?

Вылез казачишка из уральских. Так-то обрисовал гибель большевиков, что самого слеза прошибла. Так и ушел с крыльца-трибуны, сморкаясь в ладони.

Еще один поднялся, из оренбургских:

– Казаки! Как можно терпеть Коня Рыжего в председателях? Али вот еще Бушлатную Революцию! По какой такой причине? Какие они нам сродственники? Али комиссару с матросами большевики поручили обрядить нас всех в черные бушлаты, привязать к якорям чугунным, опосля в море потопить, как обсказал Конь Рыжий, што мы будто в ковчеге плывем по морю. Врет Рыжий! Хоть он и хорунжий. Кто нас повенчал с большевиками и Бушлатной Революцией?! Конь

Рыжий! Свергнуть его, как насквозь продажного, и отторгнуть от казачества!

– Прааавильно! Давно пора! Свергнуть... Пушай метется из православного казачьего войска! Доолооой!..

Шум, гвалт, рев. А три пулемета на снях – стволами к митингу. Казаки беспрестанно оглядываются – сила подперла!

К Ною подошел генерал Новокрешинов. Щеки оползнями, руки на перила.

– Казаки! Братья! Святые мученики многострадальной России!.. Кто такие большевики? Самозванцы, узурпаторы власти, разбойники! Разве не пишут в свободных газетах про Ленина, что он обвиняется в шпионаже в пользу кайзеровской Германии? Ленин вернулся в Россию в апреле прошлого года. А кто его пропустил в Россию через Германию в то время, когда Германия находится в состоянии войны с Россией?! Кто его там пропустил? Значит, завербовали в шпионы.

К генералу подскочил комиссар – маузер в руке:

– За такую провокацию, генерал...

– Погодь, Иван Михеевич, – встал между ними Ной. – Не хватайся за горячее железо голыми руками. Дай остынуть. Пушай говорит. – И к митингу: – Тиха-а! Даю еще слово его превосходительству генералу Новокрешинову. Да будут ему еще погоны! Ежели вы подмогнете. Говори, превосходительство!

Новокрестьянин сверкнул глазами, и на зубах будто дресву перетерло:

– Хам, не офицер, истинно, хам! – И повернулся к митингу. – Братья-казаки! Видите теперь, каков комиссар?! Пулеметами окружили нас! Он всем готов глотку перервать, кто несет правду и истину о многострадальной России. Позор, позор! Душа вопиет, братья-казаки! Я говорю не как монархист, а как русский патриот и офицер российской армии. Завтра из Пскова подойдут восставшие полки и вся тридцать седьмая дивизия! Из Суйды – рядом с вами – женский батальон и офицерская минометная батарея – орлы России!.. Неужели вы, казаки, стали хуже женщин-патриотов?! И не сумеете постоять за свое отечество? Еще раз спрашиваю: кто ваш председатель? Изменник казачеству и родине! Пособник большевикам!

Еще раз выручил председателя Санька Круглов:

– Утри губы, генерал! Кого изменщиком обзываешь? Полного георгиевского кавалера, который четыре года на позициях пластался, а ты во дворце отсиживался да баб чужих лапал?

– Хо-хо-хо-хо! – рвануло снизу.

– Хамы! Хамы! – Генерал отошел за спину полковника Дальчевского.

VIII

На крыльце как бы граница пролегла. Если стать лицом к митингу – справа будут генералы с полковником и офицерами, и каждый из них незаметно зажал в руке, опущенной в карман шинели, немилостивое оружие – кольт ли, браунинг, а по левую сторону – маузеры в дюжих лапах матросов тускло поблескивают.

Поутихли костры за казачьими спинами – некому подкинуть досок.

На крыльце, в сторонке за столом, штабной писарь в полушубке и перчатках при свете фонаря усердно пишет протокол.

Гудит, ревет митинг. Бросает Ноев ковчег из стороны в сторону в бушующую пучину. То один, то другой казак влезает на крыльцо, и все в одно горло: мы не с большевиками! Свергнуть Коня Рыжего!

С одной стороны полковой комитет подталкивает комиссар с матросами, с другой – офицерье из кожи лезет.

– Это же не сводный полк, а, извините за выражение, чистый бардак! Судьба решается, а ты, председатель, рот раззявил на побаски большевиков. Позор, позор! Головой ответишь за разложение полка, – выкрикивает какой-то офицер.

А голова у хорунжего Лебеда всего-навсего одна-разъединственная...

– Даю слово комиссару! Тиха-а!

Комиссар помедлил и заорал:

– Будем говорить прямо: с кем вы, казаки? С мировой революцией или контрой? Драться нам в лоб или лапа в лапу жить? Если драться – давайте! А скажите, какой интерес нам столкнуться лбами? За генерала этого? За чумного?! Слышали, как он назвал себя патриотом России, а как в натуре – холуй буржуазии, холуй мировой контры? Куда зовет генерал? В ярмо! Чтоб на шею рабочего класса и крестьянства, а так и солдатам, матросам и казакам посадить жирную буржуазию, которая каждый день рожать будет новую буржуазию. А вы что, кормить их должны, чтоб плодились они на вашу шею?

– Го-го-го-го!... – пронеслось по площади.

– Генерал, а так и казаки-оренбуржцы призывали к восстанию. Ладно! Восстать, казаки, можно. А вот как потом встать?! Подумали?

Толпа настороженно приутихает.

– Генерал сообщил, что восстали полки в Пскове. А где те полки? Почему увязли? Нету восставших полков!

– Есть! – заорал генерал.

– Где представители полков?! – потребовал комиссар.

– Отвечай, хорунжий! – подтолкнул генерал.

– Что он сказал? Громче!

– Требуется, чтоб хорунжий сказал: восстали полки или нет.

Пусть сообщит председатель, – уступил место комиссар.

– Нету восставших полков и не будет – не ждите! – ответил Ной, тревожно озирая однополчан. – Скажу так, казаки: пускай беглый Керенский из своих сотрапезников войско собирает, чтоб идти на Петроград. А мы, сибирцы, оренбуржцы, семипалатинцы, Керенскому и беглым генералам не сотрапезники! А так и немцам не сотрапезники! Генерал пошто из кожи лезет? Власть свою потерять боится. Она им шибко сладкая при царе, власть-то, была. Смыслите? А кто такие в Петрограде, которые в Смольном? Да вот такие же, как эти матросы, – от хрестьянства которые, из мастеровых. А чем они от нашего брата отличаются? Почитай что ничем! Дак скажите теперь: кого защищать надо? Буржуазию и свергнутых...

Хлопнул выстрел – пуля свистнула возле уха председателя, он резко откатнулся:

– Поглядите там! Живо! Перелицованный офицер стреляет, должно! Уймите благородия!

– Тащите его! Тащите! – орали енисейские казаки, сплотившиеся возле крыльца плотной стеною.

– На крыльцо, под факела, чтоб морду видеть!

Возня, шум, кого-то волокут, насовывают в спину, в почки, в селезенку, волокут, и как только схваченный офицер – без папахи, лысоватый, в шинелюшке – в сопровождении трех енисейских казаков поднялся на три приступки крыльца, полковник Дальчевский быстро выстрелил из браунинга в его лысую голову.

– Не гоже так, товарищ комполка! – рявкнул Ной. – Мы бы узнали, из каких интересов поручик Хомутов выстрелил! Кто за его спиной?! Ну, отнесите его на крыльцо. Говори да- ле, комиссар.

– Про женский батальон, товарищи! Это верно – батальон восстал в Суйде. Этот батальон действительно надеялся на восстание дивизии в Пскове, но не получилось так. Теперь у женского батальона – бывшего керенского батальона смерти – две дороги: одна в натуре к смерти, другая к вам, чтоб вы восстали, позор позором покрыли! Контра использовала удачный момент – в Гатчине нет красногвардейских отрядов. Советская власть надеялась на вас, казаки. Надеялась. Но пусть не думает контра, что одним батальоном захватят Петроград и Смольный. Там их встретят, в Петрограде. И если вы потопаете за батальоном в Петроград – не ждите речей, другая музыка взыграет сегодня! Подумайте, казаки! Да здравствует мировая революция! Да здравствует вождь мировой революции Ленин! Уррааа!..

Матросы гаркнули «ура», а у казаков будто языки отсох- ли.

Офицеры шипят, дуются за спиной хорунжего, а он гнет свое:

– Кто за восстанье к верной гибели – отходи влево от моей правой руки! Живо! Живо!

Казаки ни туда ни сюда.

– Ага, прикипели! Дак что же канитель разводите? А вот

что: промеж нас набились офицеры да два генерала! Звали мы их в полк или не звали?

– Не звали! К черту!

– Верно! – подхватил председатель. – А теперь спрошу: долго еще будут мутить воду от серой партии? Звали мы серых или не звали? Не звали! Генерал страдал, что восстал бабий батальон и движется к нам. Поглядим ужо на батальонщиц под георгиевским знаменем. Из красных в белых перелицевались, а мы их, братцы, обратно в женское обличье разлицуем.

Енисейские казаки отозвались дружно:

– В точку сказано!

– Пощупаем ужо!

– Почешем бабенку!

– А теперь скажу, – набирал силы Ной, – чтоб не было смуты, разоружим серых и генералов с офицерами! Пушай метутся из полка.

Не без помощи матросов полковой комитет разоружил тут же на крыльце двух генералов и пятерых офицеров. Полковник Дальчевский объявил действия комитета во главе с комиссаром вопиющим безобразием, анархией, и что он об этом поставит в известность Военно-революционный комитет Совнаркома.

Ной ответил:

– На фронте, господин полковник, ежели бы эсеры, а также и другие путаники заварили такую кашу, как сегодня,

то комитет принял бы другие меры: расстрел на месте. Так мы и делали в прошлом году на позициях.

Дальчевский ничего не ответил, пронзительно сверкнул глазами, щека со шрамом передернулась, и молча удалился.

На крыльце остались с председателем начальник штаба Мотовилов и пятеро командиров. Ной тут же обратился к казакам:

– Слушать, казаки и солдаты! Командиры – в штаб! Каждому сготовиться к бою; команда пулеметчиков – в штаб. Подготовить сани для пулеметов. Все может быть, восставшие подкатят к Гатчине ночью, чтоб перещелкать нас на мирных стойлах. А мира покуда нету!

Сотня казаков под командою члена комитета Крыслова двинулась на соседний разъезд, чтобы в случае чего предупредить о движении эшелонов с восставшими; матросы со взводами стрелковых батальонов готовились к неминуемому завтрашнему бою с мятежниками...

IX

Тоска!..

Или век Ную одному вековать? Или век самому с собою мыкаться да аукаться?..

Женою ему стала Яремеева шашечка, куренем – казенные казармы и чужие крыши; опорой – карабин фронтовой; думой полынною – постелюшка-самостелюшка; кручи-

ной неизбывною – канитель военная!..

Тоска. Тоска!..

Не исчерпать ее ведрами, как тину болотную; щемит она сердце и старит душу, и чувствует себя Ной не молодым казачком – согбенным старцем, которому не казачку обнимать, а самого себя впору от хвори спасать.

Тоска!

Сидит Ной на стуле в писарской комнате штаба, а в голове, как на водяной мельнице, всюю жернова раскручиваются – не муку, а муку мелют и перемолоть не могут.

Тяжелый и сумрачный после яростного митинга, почувствовал он себя до того одиноким и отчужденным от людской жизни, как будто на свет родился в казачьей амуниции и отродясь у него не было ни семьи, ни красной скамьи, ни божницы с иконушками и лампадками, ни постов, ни разговений, ни праздников, ни буден!..

Который год не сеял, не жал, не молот, не веял: казенные харчи, – хоть чертей полощи, все едино радости нет!..

Тоска!..

Обхватив головку эфеса шашки руками, склонившись щекою на собственные кулаки, смотрит он на грязный, затоптанный пол, но видит нечто невообразимо далекое, скребущее душеньку. Будто он не в штабе полка, а у себя дома, на огороде: желтеют широченные шляпы подсолнухов, кругом все цветет и благоухает, сестренки тут же – Харитинюшка, Лизонька, Дунечка, одна другой меньше, какими он их

запомнил в час безрадостного прощания, бегают по огоро-
ду, щебечут, как птицы, а издали между гряд идет навстречу
Ною родимая матушка, вся в черном, печальном. Отчего она
так вырядилась? Оплакивает ли сына Василия и всех сирот,
брошенных в дальние края на позиции, от которых дав-
ным-давно ни вестей, ни костей?

Она идет к Ною, а дойти не может. Он ее видит далеко и
близко, и опять – далеко и близко.

Так и минует жизнь – телега проедет далеко и близко, но
не рядом с тобою!..

Тоска!

Ему бы сынов и дочерей растить – пора давно! Землицу
холить, как родную женушку, заботясь о хлебе насущном.
Везет, везет по чужой воле тяжеленный воз, и не вырваться
ему из этой упряжи!.. Не потому ли он за все свои двадцать
восемь лет не изведal ни девичьей, ни случайной женской
ласки.

Как там Селестина?.. Утром собирался попроведасть ее в
отряде питерских красногвардейцев, да шарахнуло обухом в
лоб неожиданное известие. Санька ходил смотреть коней и
прибежал с вытаращенными глазами:

– Новость, Ной Васильевич! Восстал женский батальон
на станции Суйда, ей-бо! По всем казармам гуд идет! Как
шершни гудут, ей-бо! Вот и почалось двадцать шестое, гли!..

У Ноя враз вылетело тогда все из головы – Селестина и
трибунальцы, уполномоченный ВЧК Карпов, ночные спро-

сы и допросы, митинг... Натянув амуницию, помчался он с ординарцем в казармы к пехотинцам, чтоб батальоны стрелков держались в стороне от свары с казачьими взводами, весь день крутился в сумятице людской... Летал на разъезд... В стороне от Ноя седая машинистка быстро печатает протокол митинга: «Та-та-та-та-та-та-та-та!...»

А что, если ночью или на рассвете воскресенья подойдут к Гатчине мятежные эшелоны из Пскова, как о том стращали офицеры?

«Та-та-та-та-та-та-та-та!...»

Так и будет: посекут из пулеметов, а чего доброго – хвостанут из орудий прямо с железнодорожных платформ, займут Гатчину и попрут на Петроград...

Крутятся, крутятся жернова в башке.

Пулеметная дробь стихла, и сразу стало как-то чуждо, не по себе. Поднял голову – старушка ушла, накрыв машинку черным чехлом.

Подумалось: как будет после войны? Сразу ли втянется в тишину или долго еще будет вспоминать себя с шашкою, свистящею над головой, и с перекосившимся от ярости лицом?

Тоска схлынула, как волна с берега, веки слипаются – сон морит.

В писарскую раз а три заглядывал Санька, он не посмел тревожить думающего Ноя и никого из командиров не пустил к нему:

– Дайте ему дых перевести, леший! Сами, поди, всласть выпались, а мы за двое суток часа три урвали, и то с надрывом от всех переживаний.

Не тревожили...

Голова тяжелеет, не поднять от рук, отерпших на золотом эфесе.

Ной не заметил, как в комнату вошла Селестина и долго смотрела от двери на его огненную голову, потом окликнула:

– Здравствуйте, Ной Васильевич!

Он вздрогнул и быстро поднялся.

– А, Селестина Ивановна! Здравия желаю.

Ладонь Селестины утонула в его руке.

Что-то было в ее упругом взгляде затаенное внутри. Усталость еще не сошла с лица, в глазах прикипела душевная мука, как это бывает с человеком, когда после страшного боя он вдруг видит себя живым, а кругом – мертвые...

– Присаживайтесь, – подал стул гостье. – Отошли?

Селестина глубоко вздохнула:

– Убитый офицер Голубков оказался членом ЦК левых эсеров, лично готовил покушение на товарища Ленина. ЧК давно разыскивала его.

– Эвон как! – кивнул Ной. – Где же он достал документы Петроградского Совета, какие я вытащил у него из кармана?

– Тут ничего удивительного нет, – ответила Селестина. – У ЦК эсеров есть люди и в Петроградском Совете. Все это разматают теперь.

– Само собой, – поддакнул Ной.

– А я зашла проститься с вами. Вчера не успела сказать, меня посылают с женским продовольственным отрядом в нашу Енисейскую губернию.

– Ну и слава богу!

– Почему?

– Чуток поправитесь после питерской голодовки.

– А!..

Он ее, конечно, видел, в каком она справном теле – ребра пересчитать можно. Смутилась.

– Мне пора, Ной Васильевич. В десять пойдет поезд на Петроград.

– Я вас провожу. А заодно побываю у батарейцев.

Шли улицею. Над Гатчиной вызвездилось небо.

– А вашего дедушку, Василия Васильевича, я хорошо помню, – сказала Селестина. – Мне было одиннадцать лет, когда я гостила в Качалинской. Моей маме он все рассказывал о турецкой войне. Он ведь был героем Болгарии?

– И полным георгиевским кавалером, – дополнил Ной. – Когда же вы были там?

– В девятьсот четвертом году, летом.

– А! Меня тогда в станице не было – в Юзовке с братом работал в шахте.

– В шахте?!

– Коногоном был. Породу и уголь возил по узкоколейке на лошадях. Кони там все слепые. Их ведь как спустят в шах-

ту, так и не поднимают, бедных, пока не околеют. Вот жалко! Вить животное, и в такой безысходной беде! До сей поры вижу их во снах. А угольная пыль, будь она проклята, до того въедалась в кожу, никаким мылом не отмоешь. Углекопы, которые в забое работают голыми по пояс, – чистые упокойники. Дорого тот уголек доставался, а заработали мы с братом Василием, вечная ему память, за два года только на обратную дорогу. – Глубоко вздохнув, дополнил: – Эх, сыт голодного сроду не разумел. Кабы казаки оренбургские поработали углекопами, головы у них протрезвились бы. Они ведь из богатых станичников. Как дед ваш, Григорий Анисимович Мещеряк.

– Дедушка умер еще в тысяча девятьсот пятом году, после ареста мамы. Когда жандармы приехали к нему с обыском, он... скоропостижно скончался.

– Эвон ка-ак! Извиняйте, Селестина Ивановна, что слово про деда вашего дурное сказал, когда вы были у меня с комиссаром. Про мертвых не заповедано говорить худо.

На вокзале разноликая толпа осаждала прибывший поезд.

– Ну а матушка ваша жива? – спросил Ной.

– Мама? – Селестина глубоко вздохнула. – Она погибла еще в девятьсот седьмом. Зарубила ее какая-то казачка в деревне Ошаровой. Тогда всюду рыскали за «бунтовщиками». А мать с отцом везла двух раненых. И кто-то из мужиков выдал их таштыпским казакам. Налетели сотней. Папа успел бежать в тайгу. А мама...

– Таштыпские, говорите? Кто же, кто же это мог быть?! Одна там была только, которая с мужем... – Ной осекся на полуслове. – О господи! – вырвалось у него. Ведь дяди отца – Кондратий и Леонтий – служили в той сотне. И только одна бездетная Татьяна Семе новна сопровождала мужа. На его крестной матери, выходит, кровь рода Мещеряков?! Господи, да ведь она и сама из того же рода!..

– Что с вами, Ной Васильевич?

– Да ничего, Селестина Ивановна. После митинга все никак не могу с душой собраться.

– Бой вам предстоит трудный. Батальонщицы мадам Леоновой умеют драться. И хорошо вооружены. Не случайно батальон получил от Керенского георгиевское знамя. А многие батальонщицы – кресты и медали.

– В бою не кресты воюют, – ответил Ной. – Мы вот разъезд заняли, для нас там позиция будет самая подходящая. Только бы обошлось без большого кровопролития.

– А знаете, как вас прозвали?

– Знаю. Только ежели поразмыслить, зря не скажут. Казаки шутейно кинули в меня слово, а стрельнули в середину копеечки. В Апокалипсисе Иоановом сказано: «И выйдет другой конь рыж, и сидящему на нем дано бысть взять мир от земли, и да люди убьют друг друга». Или я в бою на коне рыжем или каком другом, мир несу и благодать? Или я шашкою играю, когда головы срубаю? Хотя и противнику на позиции. А что он мне сделал, тот противник, которого я только один

момент увидел – и зарубил?! Мир ли то? А мой брат разве виноват был перед тем немцем, который ему начисто голову отрубил, и я то видел самолично? Будет ли этому конец?

Селестина помолчала, как бы решая трудный вопрос, и взволнованно, но твердо ответила:

– Будет, Ной Васильевич! Непременно будет! Научатся же люди когда-то понимать друг друга. Вот вы спасли мне жизнь. За это не благодарят, но я... я буду помнить вас.

Раздался гудок паровоза. Селестина встрепелась – сейчас отойдет поезд.

– До свидания, Ной Васильевич, – скороговоркой промолвила она и бегом кинулась к вагону. А с подножки уже, махая рукой, крикнула: – Я буду помнить вас!

Когда поезд отошел, Ной мысленно благословил комиссаршу Селестину: «Спаси ее, Господи».

И ушел с перрона, еще более растревоженный.

Завязь третья

I

Было утро. Дымчатое, морозное...

Еще глубокой ночью из Гатчины подтянули к месту предполагаемого боя артбригаду с шестью батареями. Двенадцать балтийских матросов и комиссар бригады Ефим Семенович Карпов находились неотлучно при батареях. Помнили: среди артиллеристов немало ярых эсеров, готовых в любой момент шарахнуть из гаубиц по своим.

Домик на разъезде заняли под командный пункт.

Ранней ранью из Гатчины выступили стрелковые батальоны с пулеметной командой из двадцати матросов и комиссаром полка Свиридовым. Пулеметы и боеприпасы везли на санях-розвальнях.

Казачьи сотни выступили часом позже во главе с председателем полкового комитета.

На прогалинах между голым лесом и железной дорогой, невдалеке от разъезда, где прикипел длинный эшелон теплушек, на котором подъехали воительницы, утром началось сражение. Сперва батарейцы обстреливали позицию мятежниц из орудий. Потом солдаты и матросы с пулеметами на санях-розвальнях, казаки, пешие и конные, взяли батальон-

щиц в клещи, потеснили к теплушкам. У батальонщиц было пять станковых пулеметов, два ручных да еще минометная батарея. И драться умели – фронтовички.

Рыжая борода, белая смушковая папаха, бекеша, перетянутая накрест ремнями, рыжие ножны и рыжий конь под седлом – не конь, огневище о четырех кованых ногах.

Из рыжих ножен зеркальной сталью вылетела кривая шашка, и раздался могучий голос Ноя Лебеда:

– Не посраим, братцы, казачьего звания, а так и мужского обличья. Бабий батальон подступил к Гатчине, чтоб усмирить наш полк и повернуть на Петроград. Ультиматум прислали. Хрен его знает, как этот батальон перелицовался из красного в белый, ну да разве не казаки мы?! Пощупаем ужо грудастых батальонщиц да всыпем плетей как следовало! Или нам в юбки вырядиться надо? С Богом, братцы!

Дыбятся пораненные кони; мертвые всадники опрокидываются на белое снежное поле, циркают пули, строчат пулеметы, вздымают землю к небу взрывы снарядов и мин.

Бьются не на живот, а на смерть бабы с мужиками.

Смерть в смерть, зуб в зуб. Хорунжий Лебедь и там поспевал, и тут подбадривал: держитесь, братцы! Не прите дуриком на пулеметы. С обхода, с тыла!

Пораненные кони не ржут, а гортанно кричат, взметают комья земли со снегом.

Месят, месят, утаптывают снег. Пулеметы строчат из-за укрытий, из леса. Батальонщицы перебегают – гнутся до зем-

ли. Падают, ползут и снова стреляют по казакам и матросам.

Кричит командирша:

– Бейте их, бейте, па-аа-аадруженьки!

А казаки свое молотят:

– Такут твою! Ааа!

– Митрий, Митрий!

Через голову коня падает всадник, и конь через всадника.

– Брааатишки! За кровь мааатросов!

– Ага-га-га-га!

– А, стерва! В бога! Креста!

– Маамааа!

– Крыслов! Эй, Крыслов! Тесни их от леса. Слушай, гря.

Тесни от леса!

– Живее, казаки, живее!

– Сааазоооонов! Сааазоооонов! К балке, живо!.. За линию!

За линию!

– Зааа мной, казаки!

– Жжжю! Жжжю! – свистят мины.

Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та...

Строчат пулеметы с той и с другой стороны. Не менее полусотни казаков скопытились под огнем остервенелых батальонщиц, девять матросов успокоились на веки вечные.

Батальонщицы беспорядочно отступают к эшелону...

Надо было обойти их и ударить с тыла. Не допустить укрыться в эшелоне, не дать им возможности бежать. Ной поспешил к резервной сотне оренбургских казаков под ко-

мандованием старшего урядника Кондратия Терехова, того самого, который на митинге призывал однополчан к восстанию и свержению Бушлатной Революции – комиссара Свиридова, а Ноя грозил виселицею.

Казаки упитанные, мордастые, в изрядном подпитии. Терехов – коренастый, белобрысый, с вислыми золотистыми усами, красномордый, взбуривал на Ноя исподлобья.

– Ну, Кондратий Филиппович, – обратился к нему хорунжий, – видишь, куда отступают батальонщицы? Надо отрезать их от эшелона. Держи здесь, на опушке леса, свою сотню, в резерве следственно. Без приказа не трогаться в бой – предупреждаю!

Издали донеслась орудийная перестрелка. И Ной со своим испытанным ординарцем Санькой и казаками-енисейцами ускакали.

– Братцы мои! Это што жа?! – вздыбив коня, заорал Терехов. – Да они нам не доверяют, сволочи! Скоко можно стоять в резерве?! Не доверяют – это точно! Гнать надо батальонщиц! А ну, подмогнем! – гикнул он своим орлам. И те понеслись за ним из укрытия.

Терехов был крепко пьян, но цепко держался в седле.

Они мчались густо, весело и браво, впереди сам Терехов – только усы по щекам раздуваются да шашка винтится над черной папахой. Никто и не задумался в этот момент, кому же хочет «подмогнуть» их командир?..

И вдруг!..

рушили – оправдаться надо! Али заподозрит нас всех в измене Конь Рыжий. С богом, братцы!

Иван Христофорович предостерег командира:

– Не при на пулеметы, Кондратий Филиппович. С обхода возьми, вон с того конца. Откель не ждут. Да тиха!.. Без гиканья!..

Разъехались.

Пулеметчиц захватили врасплох, выскочили с тыла до того внезапно, что те не успели развернуть «максимы» на санках.

Терехов первым вылетел на своем разгоряченном коне к засаде. Он заметил, как одна, в шинели и сапогах, с карабином, низко пригибаясь, быстро скрылась в чащобу, внимание захватила другая – целилась в него. Успел рвануть коня в сторону, выстрела не слышал, сбил конем пулеметчицу, изогнулся, полоснув ее шашкой.

Два «максима» были заправлены пулеметными лентами; вокруг утоптан снег, на армейском вещмешке – кружки, три солдатские фляги, термос.

Терехов матюгнулся:

– Ишь, курвы! Побросали всю амуницию.

Неожиданно хлопнул выстрел из леса, и Васюха Петюхин, не охнув, повалился на правый бок, задрал левую ногу в стремя.

У Терехова язык одеревенел. Да и все таращились на Васюху с таким недоумением, точно он убит был не выстрелом,

а молнией Господней.

И еще выстрел.

– Ааааа! Аааа!..

Михайла, братан Терехова, схватился обеими руками за грудь и сунулся головой в гриву коня.

Трое живых, рванув коней, кинулись врассыпную, а вслед им – бах, бах, бах!

Укрылись в лесу – опомнились.

Терехова прорвало:

– Как же это я, робята? Да я же ее, гадину, видел! Видел, робята, как она мелась в лес!.. Михайла, братан мой, Господи помилуй!.. Да што же это такое, а? Братан мой Васюха, а?!

Минуты три Терехов, трезвея, приходил в себя. Не по его ли вине казаки попали в засаду и столько понесли жертв?.. Не по его ли вине бежавшая пулеметчица сняла меткими выстрелами еще двух!.. Он, Терехов, чтоб искупить вину перед убиенными, должен взять ее собственными руками. Двенадцать казаков, как корова языком слизнула!..

Терехов спешил, привязав коня у вяза, снял карабин, проверил патроны в магазинной коробке, переложил револьвер из кобуры в карман, и все это молча, сосредоточенно.

– Ты што, Кондратий? – спросил Михайло Саврасов.

– Я ие живьем возьму! – процедил сквозь зубы Терехов. – Я ие за братана Михайла, за Васюху, за Мишку Шуркова, а так и всех убитых и пораненных сто раз буду казни предавать, и сто раз она будет видеть своими глазами смерть, а по-

том – заррублю!

Кзаки спешились, привязали коней у деревьев.

– Погоди, Кондратий Филиппович, – остепенил Михайла Саврасов. – Надо с умом брать. Если она так прицельно бьет – не шутка.

Терехов оскалился, как волк:

– Кто убьет ее до меня – застрррелю! Вот вам крест, святая икона! – сняв папаху, истово перекрестился.

Михайла Саврасов и Григорий Петюхин примолкли. Таким взбешенным Терехова они еще не видели. Не иначе как умом тронулся. Глазищи кровью налились. Михайла Саврасов хотел остаться, но Григорий Петюхин пошел за Тереховым, коротко буркнув:

– Пошли!

– Закружило их с заговором офицерье, – вздохнул Михайла Саврасов. – И мы бы втюрились, точно! Мокрость бы осталась от всего полка, кабы не головастый председатель.

Терехов оглянулся и зло гавкнул:

– Погоди еще! Рыжего я тысяче смертей предам за измену! Али ты с нами не караулил иво у станции? Провернулся, гад рыжий.

– Побили бы нас в Петрограде или на митинге из пулеметов, – возразил Михайла.

– Пошел ты... – Терехов скрипнул зубами, оглянулся. – Тиха теперь!.. Ползти будем. Мотрите! Спугнете или пристрелите – сказал уж!..

Давно Терехов не ползал по-пластунски с таким старанием, как в этот раз. Между кустов и деревьев, осторожно пробираясь, чтоб не хрустнуть веткою, изредка поднимал голову, приглядываясь к чащобе. Наконец-то увидел ее! Спиною к нему сидит на пне, в шинели, в шапке с опущенными ушами и карабин держит на изготовку. Ну, жди, жди!

Еще осторожнее, затаив дыхание, подполз-таки к пулеметчице, с маху схватил ее за плечи, рванул на себя, втискивая голову в рыхлый снег.

У батальонщицы снегом забило рот, глаза, уши, и она даже не отбивалась.

Михайла Саврасов подумал, что Терехов придушит ее тут же. Но Терехов рванул с нее шинель – крючки выдрал с сукном. Живо снял ремень, бросил, крикнув Григорию Петюхину:

– Подмоги, чаво глядишь? Стаскивай сапоги и всю ее амуницию.

Нагую пулеметчицу с растрепанными черными волосами Терехов с Петюхиным потащили под руки спиною к черному толстому дубу, подняли ее там в рост, руки назад, вокруг ствола и привязали ремнем.

– Эт-таааа штоооо тааакооое! – раздался могучий голос Ноя Лебедя.

Никто из казаков не слышал, как по чащобе продрался к ним Ной с кольтом в руке, а за ним его верный ординарец Санька с наганом.

Терехов резко повернулся, вытаращив ошалелые белые глаза, не выпуская из рук карабина с засланным патроном, хотел пальнуть в Коня Рыжего, но тот отбил рукой ствол в сторону, грохнул выстрел. Ной с необычайной проворностью ударил Терехова рукояткой револьвера в лоб – с ног сбил, вырвал карабин, оборвал шашку, бросил в сторону, вытащил наган – в минуту управился.

Петюхин с Саврасовым не сопротивлялись – сами отдали карабины и револьверы. Шашку Петюхин не хотел снимать.

– Пристрелю! – крикнул Санька. – Сымай сейчас же!

– Под трибунал пойдете все трое! – малость охолонулся Ной Лебедь. – За самосуд! За нарушение приказа! Это уже не бой, а казнь без суда и следствия!

У Терехова кровью залило глаза и щеки, он все еще утробно рычал, смахивая кровь тылом руки, ощупал лоб – череп, кажись, не проломан.

– За митинг мстишь? – зло спросил Терехов, тяжело поднимаясь. – Завяжем узелок, помни! Не век при большевиках будешь носиться на красных копытах. Когда-то слетишь с них!

– Не страдай, вша, очкур не пережуешь, – отпарировал Ной. – А мщения у меня нет. Ни за митинг, ни за то, как ты меня со своими казаками скарауливал у станции! Нету мщения, а есть справедливость.

– У большевиков, што ль, справедливость сыскал? – огрызнулся Терехов, зачерпнув горсть снега и прикладывая

ко лбу.

– А что большевики? Миллионщики или кровопивцы?

– Ной Васильевич, она – живая! – крикнул Санька.

– Кто живой!

– Да батальонщица. Ей-бо, живая! Это ж та самая пулеметчица, которая была...

– Не болтай лишку! – оборвал Ной Саньку. И казакам: – Стал быть, изгальство учинили?

– Не было изгальства, – отверг Григорий Петюхин. – Ты бы хоть выслушал нас. Эта стерва, – кивнул на батальонщицу, – двенадцать казаков из взвода убила. Мало, да? Мало? И мово брата, Василья, пристрелила из карабина. Брата Кондратия Филипповича, Михайлу. Мало, да?

– Одна убила, что ли? Бой есть бой! А над этой почему особую казнь умыслили? Баба ведь она. За изгальство ответ держать будете. И за нарушение приказа.

Молчали.

– Гони их, Александра, до взвода Афанасия Мамалыгина, как арестованных. Передашь Мамалыгину мой приказ: доставить их на губу под строжайший арест. Ухари! Скажешь Мамалыгину, чтоб послал казаков подобрать пулеметы, убитых, а так и коней. Потом доглядывать будешь по всей позиции, чтоб не осталось чего.

– Трогайсь! – приказал Санька.

Терехов остервенело матюгнулся и пошел первым, подобрал свою папаху, за ним Григорий Петюхин и пожилой Сав-

расов – след в след.

II

Смертница готова была втиснуться в ствол дерева, уставившись на рыжебородого казака немигающими черными глазами.

Взгляды их встретились, словно накрепко затянули узел, – не развязать.

Один миг – всего один миг охватного, объемного взгляда. Белое лицо, словно из него выцедили всю кровь, чуть открытый рот с белеющими плотными зубами, трясущиеся губы и подбородок с ямочкой, маленький, чуть вздернутый нос, большие, страхом насыщенные глаза, пряди волос по плечам до маленьких опавших грудей и напряженное дыхание.

Она вдруг сползла вниз, и руки ее безжизненно упали на снег. Но где же ее одежда? Ной глянул туда, сюда, побежал к плотному кустарнику – нашел! Схватил в охапку все, что валялось разбросанным, примчался, а пулеметчица ревет, ревет в голос, сотрясаясь всем телом. Бьется, бессвязно выкрикивая: «Не я! Не я! Не я! Убейте меня, убейте!..»

Снег таял на ее голом теле, оседая крупными каплями, волосы в снегу, спутались комом. Попытался надеть байковую рубаху, но батальонщица вцепилась ему в бороду, булькающая невнятными словами, а глаза дикие, ошалелые. «Вот оно как после смертной казни отходят, господи! Хоть бы умом

не тронулась. Беда! Не бросать же ее в таком положении».

– Да охлонись ты, дура! Охлонись! Или те не морозно кататься по снегу! Сгинешь, язва! Дуры вы, дуры! Из благородных барышень, должно. В Сибири такой дуры отродясь не сыщешь!

– Из Сибири я. Из Сибири! Только убейте поскорее!

– Ври! Ты Сибирь-то, поди, не нюхала, – миролюбиво сказал Ной, натягивая шинель на пулеметчицу, и потом затянул армейским ремнем – крючки все были вырваны. Из шапки вытряхнул снег, надел ей на голову, не заправив волосы. Сапоги настыли – холоднющие. Взялся оттирать ноги пулеметчицы – не сопротивляется, хлюпает носом. – Где ты бывала в Сибири? – спросил, чтобы пришла в себя поскорее. – В книгах, однако, читала про Сибирь?

– Я в Сибири родилась! Ах, да не все ли вам равно?!

– Где? – дрогнул Ной.

– В Минусинском уезде, на Амыле.

– Деревня какая?

– Белая Елань на Амыле. Там у нас тоже казаки. Каратузской станицы, Монской, Арбаты, Таштыпа... – совсем как малый ребенок лепетала бравая воительница.

– Господи прости. Я со станицы Таштып. Лебедь моя фамилия.

– Я в Таштып не раз ездила. У отца там кожевенный завод был.

– Экое! Один у нас завод – Юскова, миллионщика. Ты,

стал быть, самого Юскова?

Ной слышал про миллионщика Юскова: «Чужое сожрет, свое сожрет, из-под себя сожрет и не поморщится».

Сказал:

– Ах ты, якри ты! Чего ж ты, дура, сразу не сказала, что ты сибирская, а не питерская? Экое! Знать, мильены папаши погнали тебя в батальон смерти?

– «Мильены»! Нету у меня мильенов, нету у меня папаши! – вздыбилась пулеметчица. – Есть душегуб, который терзал меня, как вот вы, казаки рыжие, зверь зверем. Если бы всех вас вместе с папашей под пулемет – узнали бы, какая я миллионщица. Боженька! Что ты меня не пристрелил?

– Ладно, ладно, не сопливься, – бурчал Ной. – Моли Бога, что подоспел вовремя. Ну, чего? Вставай!

– Нога у меня подвернулась.

Батальонщица, поднявшись, зацепилась за какую-то корягу и сунулась лицом в снег. Ной подхватил ее на руки и вынес из леса.

– Сейчас на коне домчу ты, дуреха. Сейчас!

У старого вяза топтался один конь на привязи – рыжий конь хорунжего. Девушка как глянула на коня, забилась на руках Ноя, вскрикивая:

– Конь рыжий! Конь рыжий! Пусти, пусти, пусти!

– Экое! Что тебе мой конь рыжий?

Девушка выскользнула из рук, как щука, лопочет:

– Боженька! Боженька!

– Экая, господи прости! Я за войну на всех мастях поездил, язви ее в душу. Сколько коней хануло подо мной, а я...

Батальонщица пятилась, пятилась, запнулась о мертвое тело, отупело взглянула на отрубленную голову подруженьки и, ойкнув, раскинув руки, упала навзничь – лицом к небу. Ной подскочил к ней – глаза зажмурены, зубы стиснуты и – ни звука. Присев на колени, подsunул руку под спину, глядит в лицо, и как будто чем прожгло душу – понять не может.

– Экое, а? А ты, язва сибирская!

Стянул зубами шерстяную перчатку с руки, зачерпнул горсть снега и давай тереть лицо, чтоб очнулась. Нет, не приходит в себя. Не умерла ли? Давай потряхивать на левой руке, и девица протяжно охнула. Ну, слава Христе, живая! Конь остервенело бил копытами и, мотая головой, всхрапывал, тараша карие глаза на рыжебородого Ноя с ношей в руках.

III

Ной не сумел бы ответить даже на Страшном суде: почему он, бывалый казак, повидавший тысячи смертей, жестоко рубивший врагов на позиции, вдруг размягчился, подобрал батальонщицу и, мало того, поехал с нею на коне не полем недавнего сражения, где еще были казаки, солдаты и матросы, подбиравшие оружие, раненых и убитых, ошкуривающие неостывших лошадей; он мчался с нею бездорожьем, чтоб

никто не встретился, и, когда она пришла в себя от тряски, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал к Гатчине.

– Куда ты меня?

– Домой везу.

– Боженька!

– То-то, боженька!

– Командирша наша... Юлия Михайловна... Мы были с нею у вас в понедельник. Помните? Она так уверилась, что ваш полк начнет восстанье! И мы все верили ей. А вышло так страшно, жутко!.. Разгром!.. Полный разгром!.. – И, прижимаясь к Ною, пулеметчица взмолилась: – Не отдавайте меня матросам, ради бога!

– Тиха! Людностью едем. И так сколько кружил.

– Мне страшно! Страшно!

– Как не страшно, коль смерть на плечах сидит. Может, проскочим.

Батальонщица притихла, жметесь к Ною. А вот и каменная ограда вокруг белого дома. Заехал в ворота, спешил, снял землячку, посадил на крыльцо, завел коня в пустующий гараж, привязал там и повел пленницу в каменный белый дом под железным укрытием с тремя трубами, из которых давно не пахло дымом.

– Как тебя звать, землячка? – спросил Ной, когда провел батальонщицу в свою комнату. – Дуня? Ладно. Меня Ноем зовут, Васильевичем кличут. Сейчас подшурю печку – теп-

ло будет. Куда запропастился ординарец, якри его?.. Болят ноги-то? Три! Пальцы-то побелели – сам видел. Разуйся и три. Без стесненъев.

– «Без стесненъев»! – вздула покусанные губы пленница. – Сколько девчат порубили, и «без стесненъев»!

– Само собой. Рубили, – поддакнул Ной, разжигая печку. – Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон.

– Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так и не бились, как мы. Отсидживались в Гатчине. Казаки еще!

– А чего нам? Как на отдыхе и формировании. Кроме того, время, якри его, щекотливое. Вроде у большевиков на харчах проживаем.

– То-то и откормили вас!

– Неужто на голодуху держать полк? Само собой. А вот ваш батальон. Седне с красными, а завтра с белыми?

– Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные!

Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой.

– Экое у те соображение. Ежели бы Ленин был немецкий шпион, чего ж тогда немцы не в Петрограде?

Чугунная буржуйка, поставленная на кирпичи, зардела румянцем – тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуня сбросила шинель и, разувшись, под села к печке. Болели прихваченные морозом

ноги и руки, но она терпела, зло поглядывая на Коня Рыжего: что он с ней сотворит, неизвестно.

– Экое! Запамятовал! – спохватился Ной. – Сейчас подлечу тебе ноги, землячка. У самого не раз прихватывало на позиции. Дак натирал гусиным салом.

Отыскал банку, подсел на корточки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колено. Дуня глубоко вздохнула и, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы – слеза за слезой, как из родничка. Не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе: она такая разнесчастная! Били – не убили, стреляли – не расстреляли!.. Сколько мучений пережила, сколько горяшка и позора извела! И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утехи... И не оттого ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них?

– Больно?

– Н-нет.

– Ври! Запухли пальцы-то. Надо бы мне там еще оттереть снегом, да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету, непьющие мы с ординарцем.

Взялся оттирать другую ногу.

– Экое! Плачешь! Эту ногу, что ль, подвернула? Больно?

– Не в ногах боль, не в ногах! – сквозь зубы процедила Дуня.

– А! – уразумел Ной и тоже вздохнул. – Понимаю, Дуня. Война, одно слово. И поражения бывают, и победы, а все еди-

но – кровью кровь смывают. У печки-то не надо держать ноги – шибче болеть будут. Дам шерстяные носки, надень да сунь в рукава моей бекеши – так лучше будет.

– Не надо!

– Пошто?

– А что мне ноги, если голову потеряла?

– Как так? Покуда человек живой – голова завсегда на своем месте. И соображение имеет при этом. Обиды и горе отходчивы.

Поставил на буржуйку чайник, подкинул в огонь дубовых паркетных квадратиков и взялся за уборку комнаты. Утащил на улицу постели с обеих кроватей, вытряхнул на морозе, вернулся, застлал кровати, чтоб все было чин чином. Подмел пол, предварительно sprysнув пыль водою.

Пили вдвоем густо заваренный байховый чай с сахаром. Дуня все так же растерянно и подозрительно взглядывала на Ноя, трудно соображая. Страх жестокого пленения казаками, обида и боль за разгром батальона отошли вглубь сердца, и она, сводя черные, круто выписанные брови, думала: и чего он с ней возится, этот рыжий? Уж лучше бы к одному концу...

– Куда запропастился ординарец, язви его? – бормотнул Ной, когда Дуня отблагодарила за чай с сахаром с ржаным ломтем хлеба, испеченного напополам с охвостьями. – Может, в штабе что происходит?

Дуня села на кровать.

А Ной притащил беремья дров – остатки буржуйской мебели и паркетных полов.

– Ты замужем, Дуня?

Дуня зло усмехнулась. Они все так начинают: замужем ли! А если замужем, счастливый ли брак? Хорош ли муж?

– Н-нет. Не замужем.

– Училась, поди, в Питере?

У Дуни запрыгало веко левого глаза – нервный тик. Училась! Это она-то, Дуня Юскова, содержанка дома терпимости мадам Тарабайкиной-Маньчжурской!

– В Красноярске прошла все науки.

– В гимназии?

– В заведении и в домах миллионщиков.

– А! – кивнул Ной. Он, конечно, понял, в каких заведениях побывала пулеметчица Дуня, слышал, что батальонщицы охотно обслуживали женскими любезностями господ офицеров, но для Ноя это было отвратно, и он не стал дальше расспрашивать.

– А у вас какое военное звание?

– Председатель полкового комитета. А как войсковое – хорунжий.

– Большевик?

– Никак нет!

– Что же вы за большевиков поднялись? Или они вас купили?

– Мы не продажны, – весомо ответил Ной. – А поднялись

пошто? Чтоб малой кровью сохранить большую кровь.

– Не понимаю!

– Да ведь если бы наш полк с артбригадой и ваш батальон прорвались в Петроград – большая бы лилась кровь. А там и без того люди изголодались, легко ли им? Из таких соображений.

– Боженька! Да ведь вы спасли большевиков! Наше командование рассчитало удар. В Петрограде нас поджидали два полка. Если бы еще ваш полк...

– Не можно то! – решительно отверг Ной. – Кабы Временное правительство было не буржуйским – миллионщиков разных, тогда бы в Петрограде не произошло в октябре восстания. А к чему теперь свергать большевиков, ежели они от большинства власть взяли?

И, помолчав, еще раз напомнил:

– Из этих соображений.

Дуня призадумалась. Куда же ее занесло? С кем она? С теми, кто ее мучил и покупал в заведении за трешку или красненькую? Бывало, «катеринки» перепадали, но от кого? И какой ценою!..

– Все так запутано, запутано! – бормотала Дуня, настороженно взглядывая на рыжего Ноя.

– Бывал и я в Белой Елани, – вспомнил Ной, – на полевых учениях. И дом Юскова помню. На середине улицы, кажись, большущий, на каменном фундаменте.

– На углу переулка? Наш.

– Богатый.

– Будь он проклят!

– Вот те и на! – ахнул Ной. – Как можно проклипать родительский дом?

– Нет у меня родительского дома. Нету! Есть дом душегуба-отца! Ох, как я их всех ненавижу! И цыгана-папашу, и дядей с тетками, и всех, всех!

– Господи прости!

– И Господа – ко всем чертям! Ненавижу! Нету ни Бога, ни черта, а есть только сволочи, сволочи всякие!

Ной еле промигался. Вот так землячка-миллионщица! С чего в ней лютость к людям и к Господу Богу даже? Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в Апокалипсисе перед боем:

«И ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НАЙТИ ЕЕ, ТО ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ОН РАДУЕТСЯ О НЕЙ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ О ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИ НЕЗАБЛУДИВШИХСЯ».

А разве можно сыскать БОЛЕЕ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ, ЧЕМ ВОТ ЭТА ПОТЕРЯННАЯ и жалкая Дуня Юскова?

Неужели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже девяноста девяти незаблудившихся?

– Что на меня так смотрите? – спросила Дуня.

– Отчего в тебе экое озлобление к людям?

– Вот еще! Меня таскали-таскали, топтали-топтали, и я бы еще любила мучителей своих?

– Не все же таскали тебя и топтали. Ужли не встречала

добрых людей?

– Не встречала таких! – зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. – Вот хотя бы вы! Заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет, и – полк не восстал!

– Не давал такого заверенья! Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал. И все тут. А потом Бологову от всего комитета заявили: полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня: отдыхайся. Не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь ни за грош, ни за копейку.

Пришел ординарец Санька – усы черные, завинченные вверх, чернуший чуб, шельмоватые глаза, губастый, подобранный, узел картошки притащил и в карманах белой бекеши – консервные банки. Куча новостей к тому же.

– Седне нажрут казаки конины от пуза. Тащут по казармам, кому сколь угодно. По полконю, ей-бо! Может, и нам взять?

– Бери, да вари на улице.

– А чаво? Чище коня животного нету.

– Потому и жрать нельзя его.

– Ох и было в штабе! – перескочил Санька, посмотрев на Дуню. – Карпова с артбригадой спешно направили в Псков. Всех ваших батальонщиц матросы допросили. Всех бы пустили в расход, если бы не подъехал Подвойский. Уве-

зут остатных в Петроград. Одна писарша, штабистка ихняя, хлипкая такая, на допросе выдала, какой сговор имела командирша Леонова с другими полками, и самых злющих из пулеметчиц назвала. По матросам в Суйде строчила будто отчаянная георгиевка Евдокия Юскова.

– Не я! Не я! – вскрикнула Дуня. – Юлия Михайловна сама вела огонь.

Санька оглянулся:

– Эвва! Юлия Михайловна?!

– Она всех в кулаке держала. Вы же ее знаете!.. С красными комиссарами была красная, в Смольный не раз ездила.

Санька переглянулся с Ноем, сказал вполголоса:

– Ищут ее. Сам комиссар Свиридов и наши казачьи командиры. Гляди, Ной Васильевич, как бы греха не было.

Ной предупредил:

– Ты вот что, Александра, что она батальонщица – никому ни слова. Тем паче – Бушлатной Революции, комиссару, стал быть. Из Петрограда, мол. Землячка наша, слышь? Был в Белой Елани на полевых учениях? Ну вот. Из Белой Елани. Звать Дуней... – И к Дуне: – По отчеству как?

– Елизаровна, – ответила Дуня и тут же поправилась: – В документах Ивановной записана. Не хотела носить отчества папаши.

Ной понимающе кивнул:

– Ивановна. Слышал, Александра? Не она была командиршей, которая ходила в двух шкурах, сверху натянула

красную, а под красной – бело-серая, гадючья.

– А мне што? – хлопал глазами Санька, разумея слова командира на свой лад: «Язви те, втезенился, знать-то. Четыре года воевал – коленей не замарал, а тут приспел. А меня штырит за баб».

Ной догадался, что на уме у Саньки:

– Не вихляй глазами – нутро вижу. О чем думаешь – выкинь из башки.

– А про што думаю?

– Про мою шашку, потому как она не ржавая.

Санька на дюйм стал ниже ростом, посутулился.

– Евдокии отдам свою кровать, нам хватит одной. Переждемся.

– Еще поставить можно.

– Ни к чему. Под боком сподобнее котелок поганый держать.

Санька уразумел, о чем речь! Ох уж до чего настырный, дьявол!

– Смыслишь?

– Не бестолочь.

– Ладно. Теперь ступай, коней давно пора обиходить. А я загляну в штаб: какие разговоры, про что? Где Подвойский?

– Должно, уехал обратно в Петроград. Бушлатная Революция увел его на вокзал. А вечером, Сазонов грит, митинг будет.

– Зайду в казарму к оренбуржцам. Как они? Какие разго-

воры про арестованных?

– Все они верченые. Доверять нельзя.

– Иди! Погодь! У кого взял консервы?

– Каптенармус дал.

– Опять власть употребил?

– Никакой власти. Сам Захар Платоныч дал. Бери, говорит, как положено председателю комитета. А што? Полковник-то со штабными на каких харчах?

– Я не полковник! – рыкнул Ной. – Ступай.

Санька ногой за дверь, а Ной остановил:

– Погодь!

– Ну?

– Не через порог.

Санька закрыл двери.

– Тайник, что отыскиали в подвале, цел?

– Как лежало, так и лежит все. – А глазом покосился на Дуню, в ноздрах завертело: конец, знать-то, тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке! Для женушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад! Ему и пользоваться. Да вот командир!

– Ладно. Иди.

Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы Бушлатной Революции, что самая злющая из окаянных пулеметчиц спрятана у председателя...

Оренбуржцы встретили Ноя настороженным молчанием: Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом! Варили конину на трех кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет...

– Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батареям! – приказал Ной.

И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб.

Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной сигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. Пятеро матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова.

– О! Хорунжий! – приветствовал Свиридов Ноя. – Наконец-то! И куда запропастились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают, сволочи, от решения назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич! За разгром батальона полку объявлена благодарность Военного комиссариата Совнаркома. Приезжал сам Подвойский. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит?! Это же событие! Красную армию организуем, браток! И я рекомендовал вас на должность командира как достойного...

– Не можно то! Как есть уже выборный командир полка.

– Дальчевский – фигура неподходящая. Подвойский оставил нам пропуск на весь комитет полка. Завтра нас ждут в

Смольном.

– Не можно то! – отверг Ной. – Как не большевик я.

– Большевик или не большевик, а приказано явиться. И точка. Комитетчики твои предлагают вон митинг опять созвать. Мало мы горло драли. К тому же семь часов вечера и казаки устали после боя. Я против!

– Как можно против? Пускай солдаты и казаки решают, остаться им в красноармейском полку или просить распустить его. По-хорошему, так должно.

– Ну, валяйте, созывайте. Время не ждет. А за что ты Терехова под арест посадил?

– За изгальство над пленными. И за невыполнение приказа.

– Правильно! Советская власть за такие дела карать должна. Одним горлодером на митинге меньше будет.

Вернулся домой Ной в двенадцатом часу ночи. Саньки еще не было. «Уж не к крале ли своей утенил, шельма? Ведь только что видел его на митинге».

Дуня угрелась на кровати, сидя уснула.

Семилинейная лампа коптила: керосин кончается. Ной покрутил фитилек и стал быстро мыть картошку в солдатском котелке. Поставил вариться.

Дуня проснулась и пересела к столу, уставившись на Ноя. Большие черные глаза на исхудалом девичьем лице наблюдали за ним со странным нарастающим интересом. Задумалась, почему этот кудрявобородый казачина прозван Конем

Рыжим?

– В Бога верите?

– Не верить – душу погубить. А к чему мне губить душу, коль и без моей – тьма-тьмущая погибших? – Помолчав, признался: – Да не всегда по-божьи поступаю. И все война проклятушая. Завсегда в бою из памяти вон! Сколько раз за-рекался, чтоб щадить человека – ведь каждый не от Сатаны родился, а как почнется бой, как взыграют кони, как увидишь противника – мадьяр ли, австрияков, немцев ли, оскалы зубов, перекошенные морды, так и сам в черта обернешься, господи прости. Доколе же будет так? – Горестно покачал головой.

Дуня в комок сжалась на резном господском стуле с высокой спинкой.

– А почему... почему... прозвали вас... Конем Рыжим?

– А! Помнишь. Да просто так, шутейно, – уклонился Ной.

– Боженька! Если бы вы знали, как я боюсь коня рыжего! Если бы вы знали!.. Еще девчушкой меня разнес наш рыжий конь – чуть не убилась. Да дед с матерью еще постарались, чуть что, так и страшат: «Мотрай, не запомятуй знамение Господне. Бойся!.. Господь явит рыжего коня, и он задавит тебя копытами».

– Не мучайся, Дуня. Не всем нам дано понять. Забудь свои страхи.

Вернулся Санька, разделся, повесил бекешу на вбитый в стену гвоздь, туда же папаху.

– Изморился за день. Сколь всего нахватали – в башку не помещается.

В комнате заметно темнело. Санька сказал, что керосина больше нет, лампа скоро потухнет, и принялся щепать лучину.

Из пустующих недр каменного дома раздался голос:

– Эй! Где тут председатель?

Ной вышел и вскоре вернулся с комполка Дальчевским.

Дальчевский, увидев Дуню Юскову, выпрямился, пронзил взглядом.

В ее глазах метался испуг: ради всего святого, не признавайте меня, я ни в чем не виновата, ни в чем! Она никому не выдала проговор полковника с Юлией Михайловной.

IV

Ной не ждал, что к нему пожалует чопорный полковник Дальчевский. А тут – батальонщица!.. Надо как-то извернуться.

– Приехала вот на воскресенье из Питера погостевать землячка. А тут у нас сражение произошло. Из нашего Минусинского уезда, Евдокия Ивановна.

– О-очень приятно! – не улыбочное, длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участия, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове. – Такое жестокое время, Ной Васильевич! Кошмарное время. Вас не было,

когда матросы допрашивали батальонщик. Пятерых казаки расстреляли на кладбище, а других замучают у себя в теплушках. До Петрограда не довезут, понятно. Наш комиссар допытывался про пулеметчицу Евдокию Юскову. Погибла, пожалуй. Это ее счастье!

У Дуни ни кровинки в щеках и сердце замерло.

– Надо полагать, у большевиков не все единомышленники, если восстал красногвардейский батальон! Что ж, Ной Васильевич, приглашайте сесть.

– Милости прошу, Мстислав Леопольдович.

Подал ему стул, а у самого глаза сузились, как у охотника, целящегося в крупного зверя.

Расселись...

Ной повесил беспогонную шинель Дальчевского и папаху.

– Что у вас варится?

– Картошка.

– Ну-ну! Скоро не будет ни картошки, ни консервов. Впрочем, у нас есть лошади. – Не спрашивая разрешения, Дальчевский размял в пальцах папиросу, закурил. – Барышня не курит?

– Спасибо, не курю, – ответила Дуня. Ох, как бы она закурила!

Дальчевский спросил: есть ли у председателя керосин или свечи? Нету? Пусть пойдет ординарец к нему на квартиру и возьмет несколько свечей.

– Ступай! – послал Ной, отмахиваясь рукой от табачного

дыма.

Санька ушел.

Булькала вода в котелке, брызги летели на раскаленную буржуйку, шипели, испаряясь. Дальчевский что-то обдумывал, прищурю косясь на Ноя. Взглянул на гимнастерку Дуни, похвалил как отважную патриотку, но сейчас-де настали такие времена, когда Георгии не в моде и патриотизм, к сожалению, канул в небытие, хотя половина женщин России и носит военную форму. Но в данной ситуации, после разгрома женского батальона, небезопасно землячке Ноя Васильевича выставлять свою форму напоказ и не лучше ли переодеться в штатское платье? «А крест спрячьте и не потеряйте», – милостиво напомнил Дальчевский. Дуня не сняла, а сорвала крест и сунула его в карман гимнастерки.

Ной опустил на стул, ладони на колени, а внутри, как в котелке на печке, вскипает лютая ненависть к полковнику из тайного «союза», еще не избощенному, не схваченному на месте преступления. «Мертвые не свидетели», – вспомнились слова Дальчевского у трупов убитых в ту ночь офицеров.

– Ну так вот, Ной Васильевич, поскольку я не был на митинге, но информирован, что завтра вы едете в Смольный, то решил зайти к вам и сказать, что подал рапорт об освобождении меня от командования. Сожалею, что принял полк одиннадцатого октября. Ну-с, а теперь, когда у военки Смольного фактически нет ни армии, ни устава, если не считать Буш-

латную Революцию и отрядов Красной гвардии, моя миссия командира полка закончена. Положение у Смольного не из важнейших: армии развалились от той же большевистской агитации «Долой войну!», кругом дезертирство, сплошные митинги, на Украине самостийная Рада сговаривается с немцами. А кайзеровские дивизии на Северо-Западном фронте плечом к плечу, и надо ждать их в Петрограде: братишки и путиловцы не спасут. Достаточно сказать, что на место главнокомандующего, прославленного генерала Духонина, поставлен прапорщик Крыленко. Это же издевательство над Россией!.. Если меня не упрячут в ЧК, то я, пожалуй, уеду к семье в Красноярск и буду там сажать репу и брюкву. Обожаю пареную брюкву!

Ной изрядно вспотел возле «буржуйки» – припекло спину, а со лба соль капала.

«Ну и стерва, господи прости! – думал он. – В кусты прячется. А комитетчиков успел подвернуть под себя, и они гнули его линию на митинге, да еще оренбургские казаки поддавали жару!.. Ясно-понятно, полк развалился. И ведь не схватишь за горло!..»

– Подвойский особо предупреждал, чтобы мы усилили охрану продовольственных складов, фуража и сена. Я распорядился. Ну и вы, само собой, имейте в виду: фураж – это кони под седлом.

– Как же, как же! – согласно прогудел Ной, соображая: тут что-то запрятано!.. Уж не думают ли они оголить Гатчинский

гарнизон? Продовольственные склады рядом со штабелями прессованного сена!..

Это он, Дальчевский, предвкушая разгром большевиков и захват Смольного, вывез из Луг весь фураж для конников 17-го корпуса и тюки спрессованного сена, чтоб потом, в Петрограде, ни в чем не нуждаться. И все это достанется красноармейским конникам!

Дуня чутьем угадывала: Мстислав Леопольдович говорит совсем не то. Он сожрал бы рыжего Ноя с его кудрявой бородой. И как будто рядом с Дальчевским, на одном стуле, сама Юлия Михайловна, со своей роскошной русой косой. Это она легла у пулемета на водокачке, отстранив Дуню, и так-то ворковала:

– Какие они славненькие, матросики! Бегут, бегут! Ко мне, миленькие! Ах, как горят теплушки! Чудненько! Чутьточку поближе, миленькие. Сейчас я их расцелую, красных ангелов.

И потом, когда матросы полегли на рельсах, возле горящих вагонов, и малое число спаслось бегством, Юлия Михайловна поднялась от пулемета, обиходливо стерла грязь с низа ядовито-зеленой юбки, сорвала красную повязку с правой руки и, скомкав, бросила:

– Все, Дунечка. Надо их, милая, вот так убивать, с короткого расстояния.

Мстислав Леопольдович так же, как Юлия Михайловна, ласково, милостиво разоружал хорунжего Лебеда. Но Дуня

заметила по настороженному цепкому взгляду Ноя, что он тоже хитрит и не так-то просто его разоружить!

И Дуня видела себя сейчас не в комнате, а на желтой водонапорной башне под грязным небом, на башне с огромным котлом, и в котле том не вода – смола кипучая ненависти к матросам, рабочим, красным комиссарам Смольного, ко всем, кто лишил полковника Дальчевского, Юлию Михайловну сытого благополучия и узаконенного разврата, которым они жили от века, а вместе с ними и Дуня Юскова. И все они сейчас на желтой водонапорной башне.

Дуне страшно. Жутко.

«Боженька, Боженька! Да что же это? Что же?» Бежать бы, бежать бы из Гатчины домой, но куда бежать? И есть ли у Дуни дом и пристанище?

Давно ли вот этот Мстислав Леопольдович в Пскове лежал в постели Дуни и бормотал ей в ухо:

– Если все обойдется благополучно, я возьму тебя с собой в Красноярск. Только бы вырваться из Гатчины...

– У вас ведь в Красноярске супруга с девочками?

– Не беспокойся, я тебя устрою.

– Нет, нет! Только... не у мадам Тарабайкиной. Вы же знаете...

А теперь она – пленница Ноя, и Мстислав Леопольдович уедет без нее. Без нее! О боже! Какие они все скоты! У него же ни в одном глазу жалости к ней. А она еще пела ему про нежность и вишневую шаль!

– А знаете, Ной Васильевич, – сказал Дальчевский, – одна из батальонщиц оказалась крепким орешком. Она заявила, что нет той кары, самой жестокой кары, достаточной кары, которая постигнет каждого предателя «союза», и она лучше умрет, чем отречется от священной клятвы!

Что это? Уж не угрожает ли ей Мстислав Леопольдович?

Скотина! Он и тогда был скотиной. Она прекрасно помнит, как в Пскове, сделав свое дело, он прошелся по комнате, вскрыл консервную банку датских поставщиков, выел до дна тушенку ломтем черного хлеба (на него всегда нападал жор в такие минуты) и, забыв о всех своих обещаниях, уехал, холодно попрощавшись.

– Закружили их эсеры с заговором, – ответил Ной, едва сдерживая ненависть.

Санька принес пяток стеариновых свечей и зажег три. Свечи, укрепленные на доньшках обливных кружек, мягко освещали большую комнату.

– Я очень сожалею, что нам не удалось догнать их командиршу Леонову. Она бежала на паровозе с тремя санитарными вагонами и отрядом офицеров. Вот только хотелось бы знать, далеко ли они ушли?!

Очень уж беспокоился Мстислав Леопольдович.

– Далеко они не ушли. Путиловцы, я думаю, их уже встретили, – прогудел Ной. – И артбригада ушла туда же.

Как-то вдруг сразу на улице посветлело.

Мстислав Леопольдович кинулся к окну.

– Пожар! Склады горят! Сено горит! – ахнул Ной.

Пожар моментально разгорелся. Сено же, сено горит! До неба взметнулось пламя.

– Точно, Ной Васильевич, горит, горит! Фураж горит. Продовольственные склады горят! – крикнул Санька. – Какая-то сука подожгла.

Мстислав Леопольдович быстро оделся, и все трое выбежали из дома.

Дуня осталась одна...

На желтой башне. Сама с собою и с полыхающим пожаром за готическими окнами. Бегут, бегут в ночи люди на пожар. Мелькают за окнами. Страшно и стыдно, стыдно. Спустится ли она когда-нибудь с башни на грешную землю?

Заговоры, заговоры, заговоры...

Зверь то там, то тут выпускал кровавые когти.

Были склады с продовольствием в Гатчине – в уголь и пепел обратились, выгребли из-под углей и пепла смешанную с золою муку, обгорелые туши конского мяса, вздувшиеся консервы...

Было сено – зола и пепел.

Были охвостья с овсом – ни мякины, ни зернышка.

Пожары, пожары!

Взрывы на рельсах.

Не проходило дня, чтобы где-то возле Петрограда или в самом Петрограде, в Пскове, Ревеле не багровело небо пожарищем.

Мстислав Леопольдович торопился, очень торопился. У дома, где он жил с ординарцем и начальником штаба Мотовиловым, его ждали две кошевы. Кони сытые, холеные, только бы скорее рвануть на них!..

Мстислав Леопольдович с ординарцем в поте лица, запалившись, таскали добро из дома в кошеву. Скорее, скорее, скорее бежать санным путем из Гатчины. А Мотовилова нету!.. Где же он?

Кто это? Что это значит?

Два матроса с маузерами...

Мстислав Леопольдович поднял руки...

V

Дуня спряталась под два одеяла и не могла согреться — округлые колени подтянула к подбородку. Уснуть бы! А сна нету. Страшно что-то. Пожар потух, и стало темно. Свеча догорела. Ни председателя, ни ординарца. Поможет ли Дуня Мстислав Леопольдович, как обещал, или выкинет вон из памяти и сердца? Да и кто она полковнику? Он и там, в Красноярске, знал Дуню, по красненькой платил за ночь.

Вспомнила, как в батальоне барышни похвалялись прежними богатствами, удобствами, квартирами, мебелью, женихами, любовными приключениями, и Дуня в свою очередь рассказывала про миллионы папаши, жаловалась на судьбу-злодейку, да никто ей не сочувствовал: сама дура, если не

сумела обжать папашу. Когда проснулась, бледный свет утра разлился по всей комнате. Никого не было. Она не знала, который час. Не вставая с постели, увидела на стуле развешанные женские платья, наряды, наряды – на двух стульях! Боженька – шерстяные платья, шелковые, тончайшие заграничные рубашки, чулки, разные лифчики! Все это так ошеломило Дуню, что она мигом слетела с кровати, схватила в охапку неожиданное богатство. Боженька! Не забыл Мстислав Леопольдович!

– Век буду благодарить вас, Мстислав Леопольдович! Век буду благодарить, – захлебывалась Дуня от радости. И что еще поразило – поверх одеяла была накинута меховая желтая дошка из заморских шкур обезьян, пушистая дошка! В самый раз!

– Ах, Мстислав Леопольдович!

Примеряла, улыбалась и все никак не могла нарадоваться нарядам. И про ночные страхи забыла, про пожар, про Коня Рыжего – этаким мужлан! Нужен он ей, рыжий! Как же ей опротивела фронтовая амуниция! Надела на голое тело рубашку и, довольная, замурлыкала песню.

Нарядилась в бархатное черное платье, перетянулась пояском, прибрала волосы и – к зеркальцу на столе:

– Боженька! Себя не узнать!

На столе записочка:

«Завтракайте. Консервы и хлеб с картошкой завернуты в полотенце под хлебальной чашкой. Чай подогрейте. Серянки

на печке. Дрова наложены».

Умора! «Под хлебальной чашкой»! Ну и Конь Рыжий! И что б с ним...

Застилая постель, подняла встряхнуть грязную подушечку, и бесики запрыгали: под подушечкой лежали золотые ду-
тые серьги с камнями, браслетик с инкрустациями и – ча-
сики! Золотые наручные часы! С золотой браслеткой!

– Мстислав Леопольдович! Какой вы благородный, бо-
женька! – Дуня заплакала от признательности к Мстиславу
Леопольдовичу.

Разжигая печку, невзначай взглянула под кровать... Жен-
ские фетровые сапожки!

– Ай! Да што это?!

А вот и ординарец Санька Круглов в белой бекеше, ме-
стами заляпанной сажею на ночном пожарище, чуб из-под
папахи.

– Экая! Не признал даже!

– Я и сама себя не узнаю. Откуда все это?

– Откель? От председателя.

– Что?! От председателя?!

– Тайник я открыл в подвале. Хламу там – не провернуть.
Ну, таскал оттуда дрова. Вижу – хламом почему-то закрыта
одна стена, кирпичная. Вроде не такая, как другие. Поновее.
Трахнул обухом – дыра. А там – ишшо подполье. Головастый
буржуй проживал. Ну, лежало бы чужое добро, да председа-
тель опосля пожара разворотил тайник, наряды тебе достал.

Чаво ж – носи, – зло бормотал Санька, косясь на Дуню. Не для нее припасены наряды-то; экое богатство, ежлив бы домой утащить. «С Конем Рыжим не иначе как голышком заявишься в Таштым. Ишь, вырядилась, курва. К ногтю бы, паскуду», – наматывалось у Саньки.

Дуня притихла...

– А полковник... знает про тайник?

– Экое! С чего бы мы открыли полковнику про тайник? У него небось своо добра напихано было на две кошевы. Цапнули иво вместе с добром.

– «Цапнули»?!

– Да ты все проспала! Полковника заарестовали сразу, когда хорунжего Мотовилова схватили. Мотовилов склады с продовольствием поджег и сено. Он верховодил заговором в полку. Вчистую оголил Гатчину. Сам Ной Васильевич сказал, что полковник здесь был. Кабы тебя можно было бы в свидетели выставить, Дальчевского с Мотовиловым шлепнули бы у одной стенки, – умиловил Санька, липуче приглядываясь к Дуне. – Да вот Ной Васильевич скрыл тебя.

– Я ничего не знаю! – растерянно лопотала Дуня, присев на краешек кровати. И нарядам не возрадовалась – живой бы из пекла выскочить. – Может, не они подожгли склады?

– Кто жа? Мотовилов самолично подкрался к часовому, выстрелил в него. Потом, стерва, поджег сено. А казак ишшо живой был. Выполз из огня – обгорелый, назвал Мотовилова и – помер. Мотовилова арестовали, а Дальчевского схватили,

когда он барахло свое с ординарцем таскал в кошевы, чтоб бежать из Гатчины. В Петроград повезут.

Распахнулась дверь – и на пороге казак. Глянул на Дуню, а потом на Саньку.

– Слышь, председатель послал. Какая-то Дуня у вас. Эта, што ль? Собери все ее шмутки и беги с ней на фатеру телефонистки. Кто-то сказал Бушлатной Революции, будто она пулеметчица, которая по матросам с водокачки стреляла в Суйде.

У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями.

– Боженька! – только и выдавила из себя Дуня.

– Ну, теперь крышка! – ахнул Санька. – Не иначе как сам полковник выдал.

– Поторапливаться надо, – напомнил казак.

– Куда поторапливаться?! – огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую папаху. – Тут надо подумать, скажу. Ежли матросы навалятся и востребуют, не спасешься, гли! Моментом перестреляют.

Казак у порога пожал плечами:

– Гляди! Председатель дал приказ.

– Приказ! Не председатель держит на себе большевиков, а матросы да пролетарьи питерские. Али мне свою голову подставить? И куда бежать? Телефонистка небось не примет ее в таком наряде. Скажет – буржуйка! Как же быть, а? – тянул время хитрый Санька Круглов и надумал-таки: – Вот

што, Евдокея. Ты, это самое, переоблачись, да живее. Сунь буржуйское барахло под кровать, чтоб духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя, и спросу не будет: кто такая? Откеда? Я подожду за дверью.

VI

Дуню отчаянно лихорадило – тряслись руки и ноги, зубом на зуб не попадала. Одно уразумела: «облагодетельствовал» Мстислав Леопольдович! Только он мог назвать ее, чтоб очистить от грязи собственный хвост!

Едва успела надеть солдатские штаны, но еще не затянулась ремнем, не обулась, как влетел Санька:

– Комиссар идет с матросами! Не успели. Ты это...

Сгреб буржуйское барахло в охапку и затолкал под свою кровать. А вот и Ной на пороге в рыжей бекеше, перекрещенной ремнями, при шашке, а за ним, в размах его плеч, комиссар полка Свиридов с двумя матросами в шапках-ушанках и в своих неизменных черных бушлатах.

Комиссар взглянул на Дуню и круто повернулся лицом к председателю:

– Она?! Что ж вы говорили, что знать не знаете пулеметчицы?

– Нету здесь пулеметчицы, а вот землячка моя, Евдокией звать, гостует.

– А ну, позволь взглянуть. – Свиридов хотел обойти Ноя,

да тот взмахнул правой рукой, и в ладонь из рукава бекеша сам собою влип револьвер. – Ты эти штучки брось, председатель! – напружинился комиссар и – руку на деревянную кобуру маузера, а за ним, как по команде, матросы выхватили маузеры.

– Не балуйте! – осадил Ной. – Слышите топот? Сейчас будет здесь сотня енисейцев. Гляди в окно – прискакали уже. Я не ваше высокоблагородие – у меня за спиной казаки, на позиции вместе пластались. За мою голову ни единой головы матросов не останется во всей Гатчине.

Скулы Свиридова отвердели, как из бронзы литые. Санька меж тем, отступив к своей кровати, ошалело таращился на всех.

– Ной Васильевич! Ни к чему эдак-то. За какую-то пулеметчицу, господи прости, голову терять? Сколько она казаков перестреляла! Миловать ее, што ль?!

Ной коротко и люто оглянулся на Саньку и опять уставился на комиссара.

– Да ведь я ее знаю! Точно! – пригляделся Свиридов. – Как у меня вылетело из головы. Это же питерская проститутка Дуня!.. Известно вам, председатель, что это за штучка? В моем отряде есть матрос первой статьи Нестеров, он ее хорошо знает. Она была казначейшей в нашем матросском клубе в Кронштадте, а потом подхватил ее какой-то офицерик, и она умелась из Кронштадта в женский батальон смерти. Точно!

Председатель ничего не сказал на эти слова комиссара – стоял как каменный.

– А ну, собирайся! Ответ держать будешь за расстрел матросов.

– Не я, не я, не я! – пятилась Дуня за спину Ноя. – Леонова стреляла из пулемета с водокачки. Не я, не я!..

– Врешь, штучка! Собирайся!

– А я грю, не возьмешь ее, комиссар. Не она была заглавной фигурой – не ей ответ держать. Кабы я вчера был в штабе, не дал бы под распыл пятерых батальонщиц!

У Свиридова желваки играли на выпяченных скулах.

За окном кони, кони, всадники, всадники – всю улицу запрудили. Кто-то зычно подал команду:

– Спе-ешиться! Окружить! Матросов с комиссарами не пускать из дома!

Ной спокойно спрятал револьвер в кобуру:

– Слышал, комиссар, как твоя башка взыграла? Не пулеметчицу тебе брать надо под арест, а тех серых, которые закружили бабий батальон. Да и наш полк окончательно развалили!

Свиридов укоризненно покачал головой:

– Не думал, что за какую-то потаскуху бузу поднимешь. Не думал! Дело не в том, что она не заглавная фигура, как ты говоришь, но она контрреволюционерка! Это уж совершенно точно. А ты ее покрываешь. Это как понимать?!

– Так и понимай, комиссар: лежачих не убиваю. В этом

круговращенье, какое происходит по всей России, не одна Евдокия Юскова закружилась. А может, и мы с тобой закружились, если друг друга не понимаем?

– Ты бы узнал у матроса Нестерова, кто она такая. Мы ее подобрали в Петрограде, доверие оказали в Кронштадте, а что вышло? Как была она... Пусть сама скажет. Спроси, кто она такая?

– Ни к чему спрос, – отмахнулся Ной. – Если вы ее таскали – не вам хвалиться. Всякого можно истаскать и затаскать, а после к стенке поставить. Или она не в женском облике? Или с оружием против тебя стоит? Была драка – бились, после драки – думать надо, милосердными быть к поверженным и побежденным. Так же!

– Ладно, председатель. Нам нужно ехать в Смольный, – трудно провернул комиссар, когда распахнулась дверь и в комнату ввалились казаки.

Карабины. Шашки. Револьверы.

– Если не дашь слово, что матросы твои не тронут без меня Евдокию, в Смольный не поеду. И комитетчики с места не тронутся.

– На кой черт мне твоя Евдокия! Держи ее при себе, если она тебе так понравилась, – раздраженно ответил Свиридов.

– Не те слова говоришь, комиссар, – урезонил Ной. – Прото, понравилась или не понравилась, – разговора нет. Я за всю войну ни единой жизни не погубил зазря. В бою – лоб в лоб, зуб в зуб. А если без боя – не шашками лязгать, не

револьверами тыкать в морду.

Свиридов еще раз напомнил, что надо ехать в Смольный, поезд на Петроград подойдет через полчаса.

– Пулеметчицу никто из матросов не тронет. Можешь не беспокоиться.

– Ладно, – согласно прогудел Ной. – А теперь ступай на станцию, и вы тоже идите, – кивнул Крыслову, Сазонову и Павлову. – Проводите, казаки, комиссара. И чтоб никакого шума. Честь по чести. А ты, Мамалыгин, снаряди людей выкопать братскую могилу для павших в бою.

Подхорунжий Мамалыгин спросил:

– Где копать?

– На кладбище. Или убитые нехристи?

Как только последний из уходящих закрыл за собою дверь, Ной, облегченно переводя дух, вытер рукою пот со лба, уставился на ординарца.

– Экая ты падаль, Александра! А ну пойдем, поговорим.

У Саньки округлились глаза, как луковицы, и рот открылся.

– Разве я, Ной Васильевич? Разве я? За-ради Христа...

– Пойдем, говорю! – люто прищыкнул Ной и, распахнув дверь, пропустил вперед ординарца.

VII

Она живая! В который раз за минувшие сутки смерть по-

миловала Дуню! Живая! Кто же он, этот человек, Ной Васильевич? За какие такие добродетели спасает он ее от смерти? На поле боя у казаков выхватил и от комиссара Свиридова заслониł собственной грудью... А Мстислав Леопольдович, вчерашний миленочек, предал!..

«Боженька! – шептала Дуня, возвращаясь к жизни. – Они бы меня убили! И за Кронштадт, и за все! Как мне страшно!.. Запуталась я, запуталась, а жить, жить хочу, Боженька!».

А вот и Ной. Дуня вцепилась в него своими черными глазами, и слезы брызнули. Упала на колени, молитвенно сложила руки:

– Век буду помнить вас, Ной Васильевич! Век буду молиться за вас. Клянусь!

– Экое! – растерялся Ной. – Не за меня, а за себя молись, скажу. Из-за красоты, должно, в грязи испачкали тебя, и ты же виноватой стала.

– Боженька! – плакала Дуня. – Не из-за красоты, а из-за душегуба-папаши. Продал меня за пай на прииске. Ох, сколько я слез выплакала! Сколько мучений! И никто, никто не помог мне!..

– Забудь про то, Дуня. Каждый человек, покуда жив-здоров, сам себя может выпрямить. И ты также – душу воскреси, и радость тебе будет. Ординарец отведет тебя на фатеру телефонистки – поживешь покуда в тайности.

Дуня поклялась, что отныне она «выпрямится на всю свою жизнь».

– А ты не клянись. Другой поклянется, слышь, и тут же соблазн лезет в голову. Ты верь, верь, удерживай себя от грязи, и Господь поможет тебе.

Некоторое время Ной стоял посредине комнаты, слушая Дуню, увидел под стулом Георгия с бантом, поднял и наказал Дуне:

– Береги! Про позиции век будешь помнить. Этакое, господи прости, суматошное время!

VIII

Санька отвел Дуню на квартиру телефонистки невдалеке от станции.

– Чаво так переживаешь? Таперь не повяжут матросы. Не думай. Нихто не тронет – хорунжий не даст. Он, язви иво, характерный, леший. Ежли што втемяшит в башку – молотком не выбьешь. Приглянулась ты ему, што ль, не рассужу вас? Мы с ним годки – завсегда вместе. Слава богу, живы покель. У меня-то дома – жена, двое ребятишек, матушка моя – овдовела с японской. А у Ноя Васильевича крылья на разлет – холостует покель и соблюдает себя в строгости. Хоша бы разок оскоромился, холера, и меня держит на притужальнике. Никакой слабоды с ним, как вроде большевик. Оно и выходит: на словах не с большевиками, а как на деле – в их оглоблях ходит, как сродственность духа имеет. Кабы не он, полк наш, может, перещелкал бы матросов на митинге, а он,

язва, выступил, обсказал, что к чему, и казаки расчихвостили ваш батальон.

Сцепив пальцами руки на коленях, Дуня сидела на чужом стуле, в чужой горнице дома железнодорожника, как будто упала на этот стул с поднебесной башни.

– Не чаевничала?

– Н-нет. Какой мне чай?

– Чай завсегда согревает. Попрошу хозяйку, штоб поставила самовар, и сбегая к себе за провизией.

– Не оставляйте меня, ради бога. Мне страшно.

– Экое! Чаво страшно?

– Я так виновата перед вами! Так виновата! В ногах буду просить прощенья у Ноя Васильевича.

– Оборони бог! Он, гли, шибко стыдливый. Виду не подавай. Дома скоро будем. Комиссар полка так-то лез из своего бушлата – уговаривал послужить ишшо мировой революции. От своей дых в ноздрах сперло, дык штоб ишшо мировую свершать!

Плюнул и вышел в переднюю избу.

Завязь четвертая

I

Поезд ползет – на коне обогнать можно. В вагоне – холодище: угля нет, и дров нет. Народу не густо – богатые мужики неохотно наезжают в Питер: ни ярмарок, ни базаров, а жуликов-мазуриков – небо темное.

Едут работницы закрытых фабрик, рабочие в легкой одежонке – рыскали по близлежащим волостям в поисках продовольствия, меняли вещи на крупу, картошку, овощи, неободранное просо, овес, и у всех мешки тощие, и каждый держится за свой мешок, как черт за грешную душу.

Едут. Не ропщут. Никого не клянут. Молча.

Трое комитетчиков с Ноем Лебедем спрессовались на одной из нижних полок, а насупротив, горбясь у заледенелого окна, комиссар Свиридов, зубы стиснуты, маузер на коленях, бескозырка с лентами, а на лентах явственно читается: «Гавриил» – эсминец Балтийской эскадры; комиссар косится на лампасников в бекешах.

За два месяца комиссарства в сводном Сибирском полку матрос первой статьи Иван Михайлович Свиридов так и не уяснил: кто они такие, казаки? Если вывернуть под корень – мировая контра, дубье, ни словом пронять, ни советскими

декретами. Глухи и немые.

А казаки: начхать нам на тебя, Бушлатная Революция! С чего ты залез к нам в комиссары? Ежели отродясь на коня не садился – какой из тебя сродственник нам?

Прохрипел паровоз – для подходящего гудка пара не хватило: доездились, досвершали революции – в почки, селезенку! Подумали так, но – молчок, при комиссаре у полкового комитета на губах замки навешаны.

Сошли с поезда. Комиссар первым, за ним комитетчики. Мешочки высыпали из вагонов.

– Экий туман! – сказал Крыслов.

– Хоть ложкой хлебай, – поддакнул Павлов.

– Тут всегда так, – согласился Сазонов. – Ни в жисть не стал бы мыкаться в этакой мокрости. И чаво здесь столицу поставили?

Ной ничего не сказал – смотрел вдоль состава: сейчас должны вывести на перрон арестованных Дальчевского с Мотовиловым. Экое, а! Склады сожгли, подлюги благородные.

– Ну, топаем! – подтолкнул комиссар. – Извозчиков нам не предоставили.

И пошел первым.

– Где у них Смольный? – спросил Крыслов.

– Комиссар доведет, – пробормотал Павлов.

– А што нам в том Смольном, Ной Васильевич? – начал тощий Сазонов. – Ты как председатель говори за всех.

Павлов туда же – не сподобился, и Крыслов предупредил, что говорить с красными комиссарами не будет. Отдувайся за всех один, председатель.

Резделились попарно – впереди хорунжий Лебедь с Крысловым, а за ним Сазонов с Павловым. Ну а ведущим – комиссар.

II

Из улицы в улицу все строже город – огромная и туманная явь беспокойного, норовистого Петра Первого.

Ной помнит Петроград пятнадцатого года, когда побывал здесь в эскорте, сопровождающем в столицу с фронта великого князя Николая Николаевича – дядю царствующей особы. До столицы ехали в императорском вагоне под надраенными медными орлами. Стоял погожий июньский вечер.

Тот Петроград оглушил хорунжего Ноя Лебеда – глаза разбегались во все стороны; сверкали эполеты с аксельбантами, звенели шпоры, соблазняли огромными витринами магазины, извозчики мотались по вылизанным улицам, и кони лоснились от сытости, богатые дамы волочили шлейфы, гимназистки и студенты тарасились на казачий эскорт на белых конях, царев дядя картинно приветствовал зевак, помахивал рукою в лайковой перчатке, трамваи весело позвякивали, колокольный перезвон церквей и соборов могутными волнами плыл над столицей, багряным золотом заката сия-

ли купола; Зимний дворец сторожел окаменелыми часовыми. Миллионная улица, задыхаясь от патриотического гула по случаю победы над австро-венграми в Галиции, день и ночь бражничала в шикарных гостиных. Все тогда слепило – от Адмиралтейского шпиля, Петропавловских золотых колоколен, чешуйчатой шкуры куполов собора Исаакия до окон и стен Зимнего дворца, – во всем чувствовалась столица Российской империи под двуглавым орлом...

И вот другой Петроград!

Постарелый, серьезный, умыканный, с голодными бледными лицами прохожих. Витрины магазинов заклеены афишами, призывами новой власти, вывески покоробились, и некому их снять – магазины мертвые, на тротуарах мусор, смешанный со снегом, улицы черные, утоптанные, и редко-редко проедет извозчик на отошальной лошаденке – ребра да кожа; прошел трамвай – не трамвай, усевье чернущее, как птицы, бывает, облепят дерево, так виснут люди со всех сторон на трамвае-тихоходе – глядеть тошно; а вот топает серединою улицы красногвардейский рабочий отряд. Командир в потертой тужурчонке с красной повязкой на рукаве, за ним, по четыре в ряд, не в ногу, кто в чем, и все они озираются на казаков, зло бормочут: «Лампасные сволочи!» – а казаки идут себе за комиссаром. Уши комиссара пламенеют от мороза, но он ведет, ведет комитетчиков-казаков, хотя вести ему их горше горькой редьки, легче бы разрядить обойму в них, чтоб навсегда опустить на дно революции чу-

гунные якоря бывшего самодержавия. И думает комиссар Свиридов: не сегодня, так завтра вот эти самые комитетчики полка, будь они прокляты, гикнут, свистнут и почнут рубить Советскую власть, и кто знает, какими силами и какой кровью одолеть их придется?.. А он, Иван Свиридов, большевик, должен возиться с ними да еще вести в Смольный! Он, Иван Свиридов, верит в мировую революцию – верит потому, что другого ему не дано, он свое завоевал в памятную ночь при штурме Зимнего и никому не отдаст завоеванное, потому что оно составляет твою сущность и все твое будущее.

Топают, топают ботинками комиссар Свиридов на три шага впереди полкового казачьего комитета.

Узкая, кривая улица – всюду печатные призывы, лоскутья от вчерашних и позавчерашних декретов, улица постепенно прямится, раздвигается в Лафонскую площадь, комиссар подворачивает к каменной ограде – двое часовых в шинелях, на ремнях – патронные подсумки, по правым рукавам – красное, к винтовкам примкнуты штыки. Невдалеке пылает костер – жгут трухлявые бревна, греются солдаты. В трех местах установлены артиллерийские орудия, два бронеавтомобиля и – солдаты, солдаты!.. Смольный!..

У парадной лестницы часовой, а по бокам – по станковому пулемету.

Комиссар все время предъявляет пропуск.

Шашки бряцают по каменным ступеням лестницы – звяк,

звяк, звяк — со ступеньки на ступеньку, шпоры — цирк, цирк, цирк, как бы тоненько подпевают звяку шашек. У самых дверей, слева — станковый пулемет, магазинная часть и патронная лента накрыты брезентом, пулемет установлен на металлическом цилиндре — с корабля снят или откуда-то с береговой обороны; еще двое часовых, на этот раз строжайшие, придиричivéе.

Смольный!

Не Зимний дворец — шикарный, узорно-паркетный, с колоннами и сводами, ослепительными залами, дивно и прочно сработанный русскими умельцами, резиденция царей, где после полковника Николашки витийствовал нечаянно взлетевший на перистое облако верховной власти Керенский, — а Смольный, где до большевиков топали ботиночками пахучие воспитанницы Института благородных девиц и после февральского переворота разместились редакции большевистских газет.

— Экое, а? Смольный!..

III

Всюду вооруженные солдаты, матросы, дым от самокруток под самые своды. Парадная лестница вверх, и тут двое часовых — дюжих, крепких, в шинелях и папахах с красными повязками, винтовками со штыками. Весь Смольный в крепость превращен. Комиссар Свиридов предъявил пропуск;

часовой, не читая, позвал:

– Товарищ Чугунихин!

По выговору латыш, кажись. А вот и Чугунихин, при маузере, в кожаной тужурке с оттопыренными карманами, в руке солдатский котелок с кашей, лапа в лапу с комиссаром Свиридовым.

– С казаками? Почему опоздали? К десяти утра, а в данный момент имеем, – посмотрел на часы, – семь минут третьего. Не торопитесь. Лебедь, Павлов, Сазонов, Крыслов. Кто Лебедь?

Хорунжий – грудь вперед, подборы сапог стукнули.

– Председатель полкового комитета? Ну что ж, иди с нами, Свиридов, в нашу семьдесят пятую. Там Оскар с комиссарами. – Скользнул по шашкам, насупился: – Револьверов нет?

– Оставили, как сказал комиссар.

Чугунихин к Свиридову:

– Точно?

– Я предупреждал.

– Идите.

Пропуск наколол на штык часового, а таких пропусков наколото на четверть четырехгранного штыка.

Поднимаясь на третий этаж, оглянулся:

– Если у кого револьвер при себе – отдай сейчас же. Ясно?

Идут. Поддерживают руками шашки. Ной охватывает взглядом всех, кого видит, – латышей, людей в штатском,

женщин, какого-то бородача в лаптях и длинной шубе, еще трех мужиков, что сидят на среднем пролете лестницы, смеют сигарки.

— Казаки! — как будто на пожар крикнули.

— Матрос за собой тащит. Может, заарестовали?

— Всех бы их заарестовать! — ударило в спину Ноя.

А вот и штаб комиссаров Смольного. Затылки, спины, спины — в гимнастерках, кителях, кто в чем, и все с оружием.

К Свиридову подошел один из комиссаров — высокий, русский:

— А, Свиридов! Здравствуй!

— Здравствуй, Оскар. Порядок у вас?

— Всегда порядок.

Ной отметил про себя: латыш.

— Ну, я пойду, Оскар. Пусть товарищи отдохнут у вас.

— Пожалуйста, пожалуйста!

Берзинь подошел к комитетчикам:

— Садитесь, товарищи. Можно снять ваши шубы. У нас был сообщения. Восстал ваш полк. Это был скверный сообщения. Утром вчера мы узнали: ваш полк разгромил эсерский батальон женщин. Это хороший сообщения!

Казаки ни гугу, языки за стиснутыми зубами, как шашки в ножнах, не спеша разделись, сложили бекеши и папахи на два свободных стула. Трое комитетчиков в гимнастерках под ремнями. Ной Васильевич в офицерском кителе со всеми Георгиями. У Крыслова и Сазонова тоже по два Георгия.

Сидят.

Комитетчики засмолили сигарки; Ной отодвинулся от курильщиков к окну. Думал, мороковал: как и что?

Прислушался – трое комиссаров меж собою разговаривают по-латышски. Здоровенные, укладистые, белобрысые.

По тому, как приходили, рапортовали и тут же уходили комиссары, Ной догадался, что все они носят по Петрограду из конца в конец, и не без урона, должно.

IV

...Комитетчики были довольны: военный комиссар Совнаркома Подвойский, пригласив их к себе в кабинет, сообщил, что в ближайшие дни полк будет демобилизован. И от имени Совнаркома объявил благодарность за службу социалистической республике.

В разговоре выяснили, сколько казаков и из каких войск, куда и как долго кому ехать. Ной деловито и точно отвечал на все вопросы. Он мог с закрытыми глазами среди ночи рассказать о всех казаках: кто чем дышит, у кого какая рука, тяжелая или легкая, и кто во сне храпит.

– Ну а кони как? – вдруг спросил Сазонов.

Комиссар не понял:

– А что вас беспокоит?

– Мы ведь казаки, – ответил Сазонов. – Каждый явился по мобилизации на своем коне. И ежели демобилизуемся, то

за коней военные власти деньгами должны выплачивать.

— А вы забыли: сожжены склады с фуражом и продовольствием? — вставил Свиридов. — И, кроме того, в Петрограде мрут ребяташки от голода. Так что кони пойдут на мясо.

— Ни к чему разговор, — отмахнулся Ной Лебедь. — Разве ты, Михаил Власович, свово Пегого не съел? Какого тебе еще коня надо?

— Эв-ва! — не сдавался Сазонов. — В бою с батальонщицами ханул мой Пегий. Ежлив бы я иво сам прирезал, тогда бы другой разговор. Тут ты, Ной Васильевич, как по войсковым нашим порядкам, не прав, скажу.

— Ну, завел, Сазонов! — укорил Павлов. — Хучь бы самим доехать домой в добром здравии, а то ишо с конями. Как бы ты, скажи, перетаскивал коня на пересадках из вагона в вагон?

— Да он бы Пегого привязал сзади поезда, — пояснил язвительный Крыслов. — А чаво? И литера на проезд не надо, ей-бо...

— Ну, будет, — оборвал разговор Ной.

В этот момент в кабинет вошел приземистый человек в су-конных брюках, пиджак расстегнут, жилетка под пиджаком, черный галстук на белой рубашке, лбина в четверть, лысый и, как особо отметил Ной, рыжая, аккуратно подстриженная бородка.

Комитетчики не обратили внимания на вошедшего, занятые размышлениями о предстоящей дороге в отчие края. А

Ной, напряжись, вдруг сразу признал: это же сам Ленин! Он не раз видел его портрет в комнате комиссара Свиридова.

Подвойский подумал, что Владимир Ильич решил просто послушать комитетчиков, не называя себя, как это он делал ежедневно в Смольном, когда заходил в семьдесят пятую комнату, в столовую или разговаривал с солдатами в коридорах.

Но Ленин протянул руку сидящему рядом с Подвойским казаку:

– Давайте познакомимся. Ульянов Владимир Ильич. Председатель Совета народных комиссаров.

– Сазонов, – не без натуги вывернул казак. – Михаил Вла-
сович.

– Солдат?

– Числюсь – старший урядник, по войску, как округлили.

Ленин подал следующему руку, тот сразу ответил бойчее:

– Павлов, Яков Георгиевич.

Следующий:

– Вахмистр кавалерии Иван Тимофеевич Крыслов, Семи-
палатинского казачьего войска.

Ной, как и все члены комитета, поднялся и ответил твердо:

– Хорунжий Аленин-Лебедь, Ной Васильев, Енисейского
войска Минусинского казачьего округа.

– Очень приятно. Бывал в ваших краях. – Ленин пригла-
сил комитетчиков сесть и себе взял стул, подвинулся побли-

же.

– Товарищ военком, вы передали благодарность Совнаркома сводному Сибирскому полку за добросовестную службу?

– Передал, товарищ Ленин.

– Очень хорошо. – Ленин взглянул на рыжебородого Ноя: – Надо довести благодарность до каждого казака и солдата.

Ной моментом поднялся:

– Будет исполнено, товарищ председатель Совнаркома. Да только не достойны мы благодарности, как не удержали полк. Окончательно расшатали серые, то есть эсеры.

– Это нам известно, – ответил Ленин и спросил: – Есть ли у полкового комитета вопросы к Совнаркому республики?

Члены комитета, понятно, как в рот воды набрали.

Отдулся председатель:

– Один был вопрос – демобилизация. Разрешили только что с военным комиссаром. Других вопросов не имеем.

– Так-таки никаких вопросов? – прищурился Ленин и чуть наклонился в сторону председателя. – Ну а как вы разъедетесь? У вас же сводный полк. Ехать всем не в одно место.

– Само собой. Всяк в свой край поедет.

Ленин обратился к военному комиссару:

– Надо, товарищ Подвойский, организовать отъезд казаков и солдат. Сейчас тяжелое положение на транспорте. Есть еще имущество полка, вооружение, кроме личного оружия.

Сколько потребуется времени, чтобы полностью демобилизовать полк?

Подвойский доложил:

– За пять дней управимся.

Ленин спросил у Сазонова:

– Давно на фронте, Михаил Власович?

Сазонов подскочил, будто ему пружина ударила из сиденья мягкого стула.

– Как с мобилизации, значит, с августа тысяча девятьсот четырнадцатого года.

– Из какого войска?

– Енисейского, как вот наш председатель. Станицы Атамановой.

– А! Большая станица?

– Как же – раз Атаманова. Допреж в станице проживал сам атаман. Теперь не живет. Да и атамана нету. Так, барахло.

– Барахло? – насторожился Ленин. – В каком смысле барахло, Михаил Власович?

Сазонов оглянулся на Ноя и не знал, что ему делать. Эко проговорился! И ведь никто за язык не тащил – сам брякнул. И со стороны председателя комитета – никакой подсказки.

– Так кто же у вас теперь атаманом? – допытывался Ленин.

– Да вот прописывали мне: объявился атаман от серой партии, сотник и по фамилии Сотников. Дык я иво хорошо знаю: на позиции ишшо в пятнадцатом году вилял и так и эдак, покель в тыл не умелся, как по нездоровью. А здоро-

вый! Хитрость все. А при Временном там, в Красноярске, атаманом войска стал. Теперь замутил воду и казаков втянул в мятеж – не признали новую власть. Как и што там произойдет в дальнейшем – того сказать не могу. Вот и сказал: барахло, не атаман.

Ленин оживился:

– Совершенно верно, Михаил Власович: барахло. К сожалению, такого барахла, как названный вами сотник, всплывает сейчас немало, и сами казаки должны тщательно присматриваться ко всем самозванным атаманам. Время очень тревожное.

– Куды тревожнее! – кивнул Сазонов. Повеселел старший урядник, как будто гора с плеч свалилась. Ленин-то экий уважительный, а? И по имени-отчеству называет, и разговаривает запросто, а не как генерал или тот Дальчевский со злым сверканием в глазах. Ведь чего только не говорили серые про Ленина!

Ленин спросил у Павлова:

– Давно ли на фронте, Яков Георгиевич?

– С шестнадцатого, как имел освобождение по многодетности. Проживал в станице Масловка под Оренбургом.

– Богатая станица?

– Была богатая. В девятьсот пятом году кыргызы пожгли, и с той поры так и не поднялись. За што? Дак известно – за землю. За сенокосы тоисть. Река у нас Масловка. Как весной разливается – на поймах трава богатящая. Дак эта са-

мая Масловка с поймами как вроде к нашей станице отходит, а вроде не к нашей – к кыргызскому аулу. В точности столбами граница не обозначена. Ну, как почалась заваруха в девятьсот пятом году по всей Рассее, налетели кыргызы на станицу, с кольями, ружьями, как саранча, стребили много казаков, детишек, стариков и дома пожгли – пожарище такое было, ужас вспомнить. Вот и захирела станица.

– Понимаю, понимаю, – кивнул Ленин и спросил у Крылова: – А вы давно на фронте, Иван Тимофеевич?

«Ишь, всех упомянул», – отметил про себя Ной.

– С объявления войны мобилизован. При лазарете долго лежал в Пскове опосля тяжелого ранения. Вот и толкнули потом в этот сводный полк.

– А вам хотелось бы вернуться в свой, кавалерийский?

– Не было свово – начисто стребили мадьяры. Ни штаба не осталось, ни полковника. Эскадрона не набрали из тех, какие живыми выскочили. Сам я под шрапнельный снаряд попал. В трех местах продырявило, окромя двух ранений, какие поимел ишшо в четырнадцатом зимою. По этой причине вот.

– Что же вас не демобилизовали?

– Дак командование по приказу самово Керенского спешно сколачивало сводный Сибирский полк, вот и собирали кого откуда, штоб направить в Петроград. А полк по прибытии в Петроград другое соображение сложил: стрелковые батальоны сразу перешли на сторону революции и дрались с юн-

керами и другими частями.

– Но ведь вас силою не принуждали «сложить другое соображение»? Или грозились?

– Никак нет. Того не было.

– Ну а что вы скажете станичникам по прибытии домой? – спросил Ленин у Крылова. – Казаки, думаю, будут спрашивать: почему служили на стороне Советов, а не с мятежниками генерала Краснова? И кто такие большевики?

У Крылова в мозгу заклинило. Вопрос-то щекотливый! Сам о том думал денно и нощно. А как ответить? Ленин ведь перед ним!

– Что вы скажете? Или в вашем войске все спокойно и казаки поголовно приняли социалистическую революцию и декреты Совнаркома?

– Как ежели по вестям из дому – не приняли, – ответил Крылов и вытер тылом руки пот со лба. – Сумятица происходит по всем станицам. Побойща между иногородними и поселенцами покуда нету у казаков, дак, как вот говорил наш председатель, нарыв сам по себе вспухает.

– Вспухает нарыв?

Крылов окончательно упарился и никак не мог отвертеться от вопросов председателя Совнаркома.

– Да и среди казаков нашего полка очинно большие сумления. И в самом нашем комитете. Вить как вот слышал: большевики изведут казачье сословие, как тех буржуев и министров Временного.

– Ну, все это провокации! – успокоил Ленин. – Никто из большевиков не думает, можете мне поверить, истреблять или, как вы сказали, «изводить» казачье сословие. Трудовое казачество для нас, большевиков, то же самое трудовое крестьянство. Живите на доброе здоровье. Вот сегодня, например, я только что подписал телеграмму в Войско Донское на съезд сельских и городских Советов, в которой сообщил, что Совнарком ничего не имеет против автономии Донской области. А ведь нам известно, что заговорщики-генералы, тот же Краснов, мятеж которого был подавлен под Петроградом при участии вашего сводного Сибирского полка, готовят восстание на Дону против Советов. Так кто же кого собирается «изводить»? Казаки Советскую власть рабочих, крестьянских и солдатских депутатов или большевики казаков? Разве большевики «изводили» казаков сводного Сибирского полка в Петрограде и в Гатчине?

– Того не было!

– И быть не могло, – уверил Ленин. – Но полковому комитету, как высшему органу власти, думаю, надо серьезно обдумать свое настоящее положение и разъяснить казакам и солдатам: кому вы служили? Именно Советам, социалистической революции. Служили без принуждения.

– Принуждения не было, – подтвердил Крыслов, хотя именно он говорил среди казаков, что их принуждают большевики денно и нощно своим матросским отрядом. Но ведь то разговор среди казаков!.. Да и на заседаниях комитета

Крыслов качался из стороны в сторону, то к восстанию, то против. – Принуждения не было, – повторил Крыслов и кста-ти вспомнил: – Но вот как мы порешили на заседании коми-тета с нашим председателем... – Крыслов упустил ниточку и запутался, не знал, что сказать дальше.

– Так что же вы решили на заседании комитета?

Крыслов отважился ответить прямо:

– Да вот сам Ной Васильевич сказал: «Как мы есть казаки – того и держаться надо. Ни к большевикам в партию, ни к меньшевикам, ни к серым». За казачество, значит.

– Это совершенно правильная позиция, – поддержал Ле-нин на полном серьезе. – Надеюсь, товарищ Свиридов, вы не принуждали казаков вступать в нашу партию?

Комиссар Свиридов встал:

– И разговора такого не было, товарищ Ленин. Наша пар-тия сознательных революционеров, как же я мог принуж-дать...

Карие, прищуренные глаза Ленина уперлись в такие же карие, открытые и немигающие глаза Ноя Лебеда.

– Ну а вы давно на войне, Ной Васильевич?

Ной поднялся, звякнул шашкой, ударившейся об стул.

– Да вы сидите, Ной Васильевич!

– Не можно то, – отверг Ной. – Мобилизован в марте че-тырнадцатого года со старшим братом.

– Да садитесь же вы, Ной Васильевич. Или и мне придется подняться?

Ной опустил на мягкий стул аршином. Потяни за чуб – подпрыгнет.

– Вы из станицы Таштып?

– Так точно, товарищ председатель. Минусинского казачьего округа.

– Я в Таштыпе не был. Три года отбывал ссылку в селе Шушь. Бывал на Енисее – загляденье. Такие изумительные места.

От этих слов у Ноя потеплело на душе, и он, вздохнув, сказал:

– Бывал я в Шуше два раза. Любее места не сыщешь. Острова там зеленеют, и как поглядишь окрест, так и дых захватывает – этакая там пространственность! А пшеничка какая вызревает?! Наши казаки не раз ездили на базары в Шушь, чтоб заместо своей шушенскую купить. Ведь из ихней пшеницы булки такие ноздреватые и пышные, каких ни в жисть не испечешь из таштыпской. Потому как наша станица в горах, и приморозки бывают, почитай, кажинный год. И на охоту хаживал там на озера – сколь дичи, господи помилуй! Или бор сосновый – дерево к дереву, и солнце цедится сквозь ветки, а внизу тени лежат, да с узорами. Едешь – и так-то легко дышится, глубоко. Стал быть, пространственно!

– Именно так, пространственно, – подхватил Владимир Ильич, и в лице его, измученном напряженной работой и бессонницей, появилось нечто мягкое, размытое воспоминаниями. И в то же время лицо как-то посерело. И все увидели

разом: как он устал!

– Николай Ильич, вы угостили товарищей обедом? – вдруг спохватился Ленин.

Нет, оказывается, обедом не угостили.

Ленин укоризненно покачал головой: нехорошо! Непременно накормите товарищей, и они сегодня же должны вернуться в Гатчину: отвезите на машине к поезду. И попрощался со всеми за руку.

– Ну а мы с вами земляки, значит? – задержал руку Ноя Лебеда. – Или трех лет ссылки мало для того, чтобы считать себя земляком минусинцев?

– Того даже много, – сразу ответил Ной. – За три года наша Сибирь, как говаривают, или с костями пережует и поминок по себе не оставит, или дух стальной в грудь нальет.

– Совершенно правильно! – согласился Ленин. – Это мне хорошо известно. Много наших товарищей погибло в ссылках, на каторгах. Но «поминки» они по себе оставили: рабоче-крестьянскую революцию. – И, помолчав, спросил: – Знают ли казаки и солдаты полка о том, что Советское правительство ведет переговоры с немецким командованием о подписании сепаратного мира?

– Знают, товарищ председатель Совнаркома, да только много туману напущено серыми. И что немцам будут отданы целые губернии, как вот Курляндия, Лифляндия, а так и часть Украины. Про то слышал в Петроградском Совете.

Ленин наклонился чуть вперед и вдруг спросил:

– Значит, ваш полк достаточно боеспособен, чтобы перебросить его на Северо-Западный фронт для борьбы с немцами?

Ной Васильевич вытаращил глаза:

– Такого не говорил, извиняйте. Полк наш, как вот известно из протоколов митингов, окончательно развалился. С таким полком только бежать от Гатчины до Вятчины, – кстати вспомнились слова ординарца Саньки.

Ленин засмеялся, приговаривая: «От Гатчины до Вятчины!»

– В таком случае как же подписать мир с сильным противником?

Ной Васильевич взопреп – нижняя рубаха к лопаткам прилипла, и по спине, чувствовал, соль стекала под брючный ремень. Вот он каков, Ленин-то!

– Не с моим умом, товарищ председатель Совнаркома, обсуждать такие вопросы, извините великодушно, – уклонился хорунжий. – Про мир или войну с Германией Совнарком, должно, решит умнее меня.

Но и от Ленина не так-то просто было уклониться. Он обязательно хотел узнать: какие мысли у казачьего хорунжего о предлагаемом германскому командованию сепаратном мире?

Ной отважился сказать:

– Мои думы, товарищ председатель, хлебопашеские, казачьи. Ну а если по-казачьи, то деды говорили так: с сильным

не дерись, с богатым не судись.

– Именно! Немцы в данный момент достаточно сильны! – согласился Владимир Ильич и, провожая Ноя к выходу, сказал: – Передайте мой сердечный привет минусинцам, и особенно сознательным крестьянам и трудовым казакам.

Ной поклонился, сдвинул задники сапог, так что шпоры тренькнули, развернулся и вышел из кабинета строевым шагом.

V

Беды не ждут урочного часа – накатываются неожиданно. Все началось утром 29 января.

Ной с Санькой не успели еще позавтракать, как прибежал к ним, запыхавшись, Карнаухов и, не переводя дух, шараясь:

– Беда, товарищ Конь Рыжий! – Впопыхах Карнаухов запомнил имя-отчество и фамилию председателя полкового комитета. – Солдаты бегут. С винтовками, боеприпасами, со всеми шмутками. А ночью, как только что узнал, из команды пулеметчиков сбежали с товарным поездом семеро и утащили «люис» с патронными цинками и один «максим». Это же надо!

Под Ноем будто фугас взорвался: так и подпрыгнул.

– Пулеметы сперли? А вы где были, командир батальона? Спрашиваю?!

– Дежурил в штабе!

– Дрыхли вы в штабе, Карнаухов! А еще фельдфебель! Пулеметы у него сперли! Солдаты бегут вооруженными и тащут полковое имущество. Эт-то што такое, а?! Сей момент в штаб своих комитетчиков.

Карнаухов сгорбился, развел руками и растерянно пробормотал:

– Нету.

– Кого нету?!

– Комитета батальона. Еще ночью уехали с теми пулеметами. Пятеро пулеметчиков, а двое – члены комитета.

Ной сел – ноги не держали.

– И Ларионова нету, – дополнил Карнаухов.

– Што-о-о?

У Ноя дух занялся. Ларионов – председатель батальонного комитета, прапорщик с двумя Георгиями, отменный командир, на него-то особенно надеялся Ной, и вдруг! Быть того не может!

– Вечером смылся из полка. Он же из Москвы – бежать близко. Тут ведь как произошло... когда вы были в Смольном, поступил приказ о демобилизации от командующего Крыленко, а ночью кто-то из штаба шумок пустил, што большевиков арестовали в Брест-Литовске и немцы прут в наступление. С того и полыхнуло по казармам.

– Господи помилуй! И тут успели серые, – рычал Ной, одеваясь. – Никакого наступления немцев не предвидится.

Сам председатель Совнаркома Владимир Ильич Ульянов, если бы ему было известно о предстоящем наступлении немцев, не дал бы согласия демобилизовать полк. Слова о том не было! А тут, пожалуйста, шарахнулись, как дурные овцы за слепым бараном. Да нет! Не слепой баран подпустил такую воньку, чтоб солдаты бежали с оружием и растаскивали бы полковое имущество! И ты тоже, комбат! Как мог не знать, что происходит в казармах ночью?

Карнаухов виновато опустил голову.

Ной как бы нечаянно приблизил к нему нос, принялся: – Эв-ва ка-ак! От тебя же перегаром прет за сажень! Этта еще что такое, а? Под арест пойдешь! Сей момент в гарнизонную тюрьму запру!

Карнаухов нечто невнятное пробормотал о своих именинах, да Ной не стал слушать: под арест! Пуще всяких преступлений он считал пьянство при исполнении воинской службы, тем паче на дежурстве в штабе полка!..

– Александра, – оглянулся Ной Васильевич на ординарца. – Живо одевайся. Мчись за комитетчиками полка, чтоб явились в штаб. Будем разбираться с комбатом Карнауховым. – И Карнаухову: – Идите в штаб.

VI

Творилось нечто уму непостижимое...

Солдаты с оружием толпились на перроне, в зале ожида-

ния вокзала, поджидая поезд на Петроград, и оттуда по Николаевской дороге на Москву или еще куда, только бы не задержаться в Гатчине.

Напрасно надрывал глотку Ной, уговаривая солдат и казачков вернуться в полк, чтоб разъехаться честь честью, без стыда и позора, с демобилизационными документами, с харчевыми листами и без казенного оружия и прочих вещей, да не тут-то было: глухи и немые, как камни. Спрессовались в тугой кулак и ноль внимания на горластого Коня Рыжего, мол, кукиш тебе с маслом! Катись отселева.

– Выслуживается, рыжий, перед Совнаркомом!

– Чтоб ему звезду на лоб навешали!

А тут еще Санька протиснулся к Ною и вполголоса сказал:

– Нету комитетчиков.

– Как так нету?! – зыкнул Ной.

– Убегли. Чистое дело, смылись. Как Сазонов, так и Крыслов с Павловым. На конях удули. Куда они токо ускакали, леший?

Вот когда Ной почувствовал, что у него ни силы, ни власти!

День выдался морозный, без мглы и тумана с Балтики, а Ною жарко – по хребтине соль выступила.

– Очумели вроде, – со вздохом признался, когда отошли от станции. – Надо поднять сотню Мамалыгина. Силою разоружить серых баранов!

Санька свистнул.

– Чего свистишь?

– Ищи ветра в поле! С Сазоновым удрал Мамалыгин.

Ной остановился и злющим взглядом пронзил Саньку.

– Истинный бог, смылись! – побожился ординарец. – Хучь сам иди проверь. Я и так весь в мыле, пока обежал казармы. Забыл сказать. Комиссар тебя ждет в штабе и ишшо ктой-то. Урядник оренбургский, Иван Христофорыч, тоже там. Просить будет за арестованных. Отпустил бы ты их! Как там ни суди, хучь кричать на меня будешь, а стерву-пулеметчицу я бы не стал спасать. Сколь матросов посекала, а потом и казаков.

Ной ничего не ответил, погрузился в думу, как камень в омут.

Так они прошли одну, другую улочку и повернули не в сторону штаба, а к гарнизонной тюрьме – одноэтажный каменный домик между двумя казармами.

Санька повеселел: пронял-таки Ноя Васильевича! Освободит казаков. Чтоб из-за шлюхи да еще в гарнизонке держать. Ее бы, гадюку, как вшу, щелкнуть надо, а не в наряды буржуйские вырывать.

Санька никак не мог смириться с потерей богатства, обнаруженного в тайнике. Правда, на его долю еще много добра осталось, да ведь неизвестно, что возьмет себе сам председатель. Шепнуть разве Терехову, чтоб он на прощанье с Гатчиной понаведалься на квартиру телефонистки – Санькиной милашки – и там бы упокоил проститутку Дуньку. Нет, лучше

не говорить. Ной Васильевич моментом раскроет, и тогда самому Саньке несдобровать, как сообщнику тереховских баламутов, расшатавших полк. Ох, лют Ной Васильевич! За измену – расстрел! А какую-то Дуньку спиной заслонил.

«Ишь, лежащую не бьют, – вспомнилось Саньке. – Раздавить бы ее, гадину, как вшу!..»

Ной занялся делами арестованных – пятерых солдат и двух оренбуржцев – Терехова и Григория Петюхина.

Один из солдат арестован за изнасилование девчонки – патруль доставил. Приказал дело передать в трибунал без всякого промедления. Двое – за воровство в каптерке.

– Отпустить. Пушай домой собираются.

Еще двое – за драку в казарме.

– Освободить. А казаков – ко мне. Разберусь.

Казаков привели в гимнастерках без ремней. Ной уставился на них жестким взглядом.

– Подумали? – спросил.

– Чево думать? – встряхнул взлохмаченной головой неломкий Терехов. – Мстишь за митинг, и все тут.

Ной оглянулся на начальника гарнизонной тюрьмы:

– Скажи, как по революционному закону положено, если в бой врываются без приказа командира, губят зазря воинов под огнем и фактически оказывают помощь не своим, а противнику?

Начальник тюрьмы без запинки ответил:

– Расстрел на месте. Или через трибунал – тоже расстрел.

А разве эти казаки такое преступление сделали?

Ной сверкнул глазами:

– Про них нече толковать. Кабы учинили экое злодейство – не стояли бы здесь живыми.

Терехов не дрогнул, только жестче вычертил губы и сузил глаза. Петюхин что-то хотел сказать, но, выслушав ответ председателя начальнику, глубоко вздохнул и вытер тылом ладони пот со лба – пробрало.

– Так вот, казаки, – поднялся Ной. – Подумайте над тем, покуль в живых пребываете. Отпусти их, начальник. Пушай метутся из полка обезоруженными! В Оренбурге у вас банды, не качнитесь сдуру к ним – без голов останетесь!

С тем и ушел из тюрьмы Ной со своим ординарцем.

Петюхин призадумался, а Терехов еще пуще раздулся злобою так, что матерков хватило ему до Оренбурга и к себе в станицу довез – детишек перепугал, а жену-казачку ни за что ни про что при встрече вздул плетью, чтоб силу мужа почувствовала. Не успев передохнуть после Гатчины, метнулся в банду, зверски истреблял большевиков, за что и произведен был мятежным генералом Дутовым из урядников... в есаулы!

Из кутузки Ной не пошел в штаб, где его поджидали комиссар Свиридов с Подвойским.

Был потом и митинг – горяшко! Никто никого не слушал – сплошной рев и гвалт: домой, домой, живо распускайте!..

А тут еще беда – ни продовольствия для солдат и казаков, ни фуража для коней – склады-то сгорели!..

Тридцать первого января приехал снова из Смольного Николай Ильич Подвойский, чтоб завершить демобилизацию полка.

Самым страшным для Ноя было решение о расстреле лошадей. Кони, кони! Казачьи кони! На махан пойдут для голодающих питерцев.

Коня рыжего, генеральского, отстоял. Передали малочисленному Гатчинскому гарнизону.

До вечера Ной занимался полковыми делами. Прощаясь с Подвойским, спросил про батальонщицу Евдокию Юскову. Да, он ее спас из-под расстрела, так и так, и матросам не отдал. Нельзя ли выдать ей документ, как тем батальонщицам, которых отпустили в Петрограде?

– Оформите ее через свой полк. Пусть едет домой без приключений.

Ной поблагодарил и ушел. Надобно сказать, что с того утра, как ординарец Санька спрятал Дуню в доме телефонистки, Ной не встречался со своей пленницей. И если Санька напоминал о ней – сердито отмахивался: не до нее!

VII

Кровать ординарца Саньки была ободрана, мешки с добром из буржуйского тайника исчезли, и Саньки след про-

СТЫЛ.

– Дезертировал, подлюга! – вскипел Ной и бегом на станцию.

Туда-сюда, нету ординарца, спрятался где-то. Ной сделал вид, что ушел со станции, а сам подкрался с другой стороны, затаился за углом и ждет. А вот и поезд показался из Пскова – платформы, платформы с дровами для замерзающего Питера. Глядь: бежит Санька по перрону, согнувшись под тяжестью двух мешков. Ной выхватил револьвер и выстрелил в небо:

– Ложись, гад! Изменщик!

Санька распластался на перроне, спрятавшись за туго набитыми мешками. Ной двинул его сапогом в зад.

– Ты знаешь, сволочь, что за измену на позиции в Восточной Пруссии я расстрелял полковника со всем штабом! Забыл! А ты дезертировать?! Подымайся! Именем революции укорочу твою дорогу.

Быть бы упокойным ординарцу Саньке, если бы не подошел Подвойский с комиссаром Свиридовым. В чем дело? Ординарец дезертирует?

Санька почуял, что комиссар из Смольного может выручить.

– Из ума вышибло, истинный бог! Думщики, значит, сказывали, что председатель, Ной Васильевич, на службе остается и меня захомутаёт. А я хворый! Помилосердствуйте!

Подвойский, понятно, не похвалил ординарца за дезертирство:

– За это на фронте, безусловно, расстреливают! Но сейчас, я думаю, командир простит вас. И если он вам сию минуту прикажет сопровождать его в бой – выполняйте неукоснительно. Или вы новобранец? Не фронтовик?

Санька обратился за помощью к комиссару:

– Иван Михеевич, за-ради Христа, отпустите! Скажите ему, что не я вам первый обсказывал про батальонщицу тогда, а Дальчевский. С той поры житья мне никакого нету. Убьет меня Конь Рыжий. Помилосердствуйте!

Ной на некоторое время очумел, будто ушам не поверил! Так, значит, Санька выдал Дуню Юскову?

– Не-ет, ты не уедешь, пакость! – Туго закрутил Ной, теперь его не остановит ни комиссар Свиридов, ни Подвойский, ни сам Дух Святой и Сатана из преисподней. – Один раз становятся предателем, не запомнят! Навьючивай мешки, живо! И отпущен ты будешь тогда, когда свой грязный хвост очистишь. Также.

Санька поплелся обратно со своей кладью, оправдываясь, что он ополоумел после побега комитетчиков и что батальонщицу первый выдал Дальчевский. А он только после него не стерпел, сердце не выдержало, чтобы укрывать стерву, и что сам Ной Васильевич с того утра ни разу не навестил пулеметчицу, а значит, брезговал ею. И потому Санька решил, что Ной Васильевич плюнул на паскуду, и Санька

отобрал у ней сегодня буржуйское добро – пушай таскается в своей шинельке и в солдатской амуниции, потому как тайник открыл не кто иной, как Санька, и добром пользоваться ему.

Как только вошли в ворота ограды, Ной гаркнул:

– Стой, гад!

Санька бросил мешки.

– Так ты, падаль, Иуда?! Три раза Иуда!! А Иудов смертным боем бить надо. Смертным боем!

Санька не успел отскочить, как Ной сцапал его за бекашу и одним махом вскинул в воздух, перекинул через себя. Не успел Санька подняться, как Ной снова его подхватил, как мешок, и, размахнувшись, швырнул в другую сторону – по снегу дорога пролегла. Санька за револьвер, да разве успеешь – это же Конь Рыжий! Вырвал револьвер, оборвал шашку и пошел возить Саньку, тыча мордой в снег молча и люто. Кулаками не бил – знал силу своего удара. На позиции как-то, расвирепев на обезумевшего коня во время боя, ударил кулаком меж ушей – конь тотчас испустил дух.

Санька взвыл о милосердии:

– Ной Васильевич! Детишки у меня! Детишки малые!

– А ты, гад, помнил про детишек, когда должность Иуды правил?!

– За-ради Христа!..

– Нету у тебя Христа! Нету Бога!

Бекеша Саньки трещала по всем швам. Свирепый Ной

еще раз взметнул Саньку в воздух, задержал над своей головой и давай трясти – ноги и руки заболтались, как тряпичные.

– Не запомнят, грю, про свое паскудство, падло! Смерти иль живота?!

– Живо-о-о-та! За-а-а-ра-а-а-ди го-о-оспо-о-да-а-а!.. – И, переведя дух, более внятно покаялся: – Клятву даю – помраченье нашло.

Ной тяжело перевел дух.

– Ладно. Живота просить будешь у Евдокеи. Сей момент иди за ней, и ежели она помилует – жить будешь. И долго помнить будешь! Также! Должность Иуды завсегда мерзкая. Да не вздумай удариться в побег – от меня никуда не уйдешь. Ступай!

Забыв про папаху, Санька ушел из ограды, насыщенный до ноздрей страхом и злобой.

Ной подобрал мешки, папаху, оружие Саньки и поплелся в дом. В темноте пустынных комнат ударился об стену, нашарил дверной косяк и пошел дальше. Под его ногами жалостливо повизгивали разошедшие половицы, без паркетных плиток, сожженных в печке-буржуйке.

Бросил мешки на пол, оглянулся, будто искал кого-то, и, вздохнув, опустился на стул.

– Господи! Избави меня от лютости! – вырвалось у него со стоном.

Дуня, конечно, простила Саньку – сама не из безгрешных,

переоделась в буржуйское по приказу Ноя и после скудного позднего ужина собралась спать. И как не ждала того, Ной сказал:

– Ложись на мою кровать, а нам с Александром одной хватит.

Теперь, когда все страхи минули, Дуня удивилась словам Ноя.

Он начинал ей нравиться – ни одного похожего на Ноя не встречала; про любовь, понятно, думать не могла. Само это слово для нее было отвратным. Фу! Любовь! Для дур оловянных да баб деревянных. А она, Дуня, пройдя огонь и воду и медные трубы, уверовала в одно: всякому мужчине нужна любовь на одну ночь или час какой, а потом ищи другого.

Со станции доносились гудки паровозов; уже храпел Санька. Дуня никак уснуть не могла; когда же Ной придет к ней? И она, Дуня, отдастся спасителю со всей присущей ей страстью и умелостью.

Послышался мерный сап Ноя. Дуня сама себе не поверила: неужто уснул?

Вспомнила слова Ноя:

«Отдыхивайся, Дуня. Не на одном паскудстве жизнь стоит. Не сгибли еще в смертном круговращенье человек и душа человечья. Каждый должен держать себя в строгости и уваженье к другому. Милосердые проявлять надо! Или все ханем скотам подобны».

Уж не монах ли он, Конь Рыжий?

Ночь текла, как река по степной равнине, мало-помалу убаюкала Дуню, и она забылась в тревожном сне.

Когда проснулась утром – Ноя не было. Санька угрюмо сообщил, что председатель уехал по каким-то делам в Петроград и как бы беды не было.

– Окончательно стреножат хорунжего – никуда не уедем! – сопел Санька, готовя скудный завтрак. – Ежли у большевиков останется, вот те крест, сбегу! У меня дома детишки, а не крольчата. И казачка моя на корню иссыхает... Ты бы вот оказала на него влиянье, – ввернул шельма-ординарец. – Не даром же спишь на его постели?

Дуня передернула губы:

– Если бы я так спала на других постелях – осталась бы невестой Христовой!

Санька быстро и коротко взглянул на Дуню, покачал головою:

– Ежли не врешь, стало быть, он и взаправду конь, а не казак. При такой красоте, как у тебя, да штоб... Господи прости! Не знаю я иво, хоша вместе по всем позициям пластались. Моget, и в самом деле записался в партию большевиков? Они ведь, как вот Бушлатная Революция, строгостью живут. Все для мировой революции, будь она проклята! А на хрен мне ишшо мировая? Не союзник я ей! Верченые они, Лебеди! Хоша и атаманит отец ево у нас в станице, да все едино не казачьим дыхом Ной Васильевич пропитан. Не даром путался со ссыльными. Да и бабушка у него ссыльного

сицилиста подобрала чахоточного.

— Он какой-то непонятный, Ной Васильевич, — тихо промолвила Дуня, присаживаясь к столу пить чай. — А характер у него каменный. Я-то думала — отдаст меня комиссару.

— Вырви у волка кость! — подмигнул Санька. — А ты это таво, ежели он останется служить большевикам, не оставайся с ним.

— Вот еще! Лучше удавлюсь!

— К черту их! — поддакнул Санька. — Рванем из Гатчины вместе, токо бы момент улучшить.

На том и порешили...

Ждали Ноя до поздней ночи. Вернулся он с демобилизационными документами на себя, ординарца и Евдокию Юскову.

Сводный полк прекратил свое существование, освободив казармы и сдав имущество Гатчинскому военному гарнизону.

Второго февраля, по старому стилю, а по новому, совнаркомовскому — пятнадцатого, Ной со своими спутниками покинули Гатчину. Домой, домой, за дальнюю даль, в Сибирь морозную!..

Завязь пятая

I

Жестокий ветер судьбы бросал Дуню Юскову по белу свету, как щепку на волнах, то прибивая к берегу, то относя. С пятнадцати лет Дуня барахталась в грязи, зубами и ногтями выцарапываясь, чтобы встать на ноги, и снова летела в грязь, ожесточаясь на белый свет.

С того памятного зимнего дня, когда пьяный папаша продал пятнадцатилетнюю Дуню жулику Урвану – сокомпанейцу золотопромышленника Ухоздвигова, душу ее попросту растоптали без жалости и милосердия.

Но есть такие шальные натуры, которые, вихрясь в диком пьяном танце, вдруг трезвеют, рвут на себе волосы, ненавидя все и вся.

Такой была Дуня. Ее нельзя было понять вдруг или открыть, как шкатулку с дамскими безделушками. Она и сама не знала, что она может натворить завтра. И вот встреча с Ноем, который отогрел ее, что называется, в собственных ладонях, а для чего? Если для того – так пользуйся же! Черт знает, что он за человек, этот Конь Рыжий!

Дуня за недлинный век свой научилась вести образованные разговоры, но умела и огорошить собеседника языком

деревенской бабы – ей так нравилось! Как нравилось ее папаше обжулить простака – обвести его вокруг пальца. Может, потому он и выдворил ее вон, что явственно увидел в ней все язвы и пороки своего варначьего рода...

Дуню тошнило от Ноевых душеспасительных разговоров. Есть тело, желание, утоление желания, страсть и – деньги, деньги! Она с презрением поглядывала на Ноя, когда он читал Евангелие – книгу сказок про Бога – или крестился перед едою и отходя ко сну. Смешной человек, ей-богу! Да плюнуть на этого Бога и плевком растереть. Везде люди одинаковы: звери, и нет среди них Христа из дурацкой сказки, а есть дьяволы и ведьмы, дураки дубовые и умные головы. Но ничего не сказала об этом Нюю – побаивалась. Решила завлечь рыжего. Не такой, как все, – это раз. Силища и спаситель – это два. Но Ной все время делал вид, что ничего не понимает. Молча, без единого слова мог он усадить Дуню на стул, как дрессированную собачку, хотя Дуня, скорее всего, была дикой кошкой. А кто видел кошку на поводке? И как того ни хотела Дуня, оказалась на поводке. Мало того, поймала себя на паскудной мысли: тянет ее к Коню Рыжему! Еще чего не хватало! Ведь это он втрескался в нее, она же видит! Но почему этот молчун медлит! Или брезгует? Или Бог с Богородицей ему мешают? Ведь не круглый же он дурак, чтоб не понять: Бог – сила, а сила у людей! Вот и весь Бог с Богородицей, которая забрюхатела от ветра и родила идиота, похожего на нее, – Иисуса Христа. Сдохнуть можно от всех этих

бредней!

– Как приедешь домой, чем жить будешь? – спросил ее Ной перед отъездом.

– Есть о чем думать! – отмахнулась Дуня, но тут же высказала сокровенное: – Если бы мне сегодня из папашиных миллионов хотя бы один, я бы сумела сделать из него десять или тридцать.

Ной с сожалением посмотрел на нее:

– Вот и выходит, нечего пенять тебе на отца, коль овца в того же подлеца. Это у тебя сон, Дуня. Только он вчерашний. Не проспй день завтрашний.

– Уж как-нибудь не просплю! А вот когда свергнут большевиков, какой вы будете иметь интерес?

– Совесть мою никто не свергнет. И честь. На том весь белый свет стоит.

II

В вагоне холодище.

Кругом охи и вздохи – ни дров, ни угля! Сытые таились от голодных, как волки от охотников. А поезд тащился так медленно – тошно в окно глядеть. То одна остановка – дров набирают, то другая – воду ведрами в тендер таскают. А люди прут и прут в вагоны – ни дыхнуть!

Разруха!..

В Москве повезло – сели в поезд, идущий до Иркутска че-

рез Самару. Ной с Дуней и Санькой упаковались в спальное купе, потеснив бородатого купчину из Екатеринбурга – Георгия Нефедыча, как он себя назвал. Борода стриженная, черная, глаза – у черта взяты – едучие и до того хитрые, насквозь все видят. Известное дело купецкое – глаза надо иметь во лбу и на затылке, иначе облапошат. Купчина ехал с молоденькой бабенкой, Люсьеной звать – пригожая собой, полненькая, сдобная, еще поп из Омска подселился, отец Михаил – худший, будто век не кормленный, высокий, с позолоченным крестом на черном священническом одеянии. Поп забрался со своими корзинками на верхнюю полку и пел оттуда псалмы Давида тихо и нудно. Купчина устроился на полу, вернее, на вместительных тюках и мешках, перетянутых веревками: подкатывался к Ною, чтоб тот со своим ординарцем, в случае чего, защитил бы его, разумеется, за приличное вознаграждение. Хорошенькая, беленькая Люсьена, широколицая, скуластая, смахивающая на монголку, доверительно поглядывала на богатыря-офицера, но, не преуспев, отметила своим вниманием черночубого ординарца в белой бекеше, а тот – с моим почтением!

Стало их в третьем купе шестеро – печальной судьбы соотрапезников. В других купе набивалось по десять человек и больше. И в коридоре классного вагона – веслом не повернуть.

Санька устроился на тюках – другого места не было, шупал купчину, как бы ненароком, так, что у Георгия Нефеды-

ча сон пропал. По всей ночи вертелся, перекладывая из одного кармана в другой браунинг, а Санька в пику браунингу – револьверище системы наган: чей, мол, козырь убойнее! У хорунжего при себе была сабля, как и у ординарца Саньки, револьвер и кавалерийский карабин: при боевом снаряжении отпустили. Дуня Юскова, отдохнувшая от охов и вздохов, в некотором роде неприкосновенная, тащила своего спасителя Ноя на каждой станции и полустанке поглядеть на народ, как и что происходит на великой российской дороженьке!

– Экая ты неумная! – сопел Ной, но не отказывался от вылазок.

Какой сговор произошел у Саньки Круглова с Георгием Нефедычем, Ной не знал. На вторую ночь от Москвы Санька потушил стеариновую купеческую свечу на фарфоровом блюде и вскарабкался на верхнюю полку погреться к хорошенькой Люсьене. Купчина и ухом не повел. Пущай, мол, греются, только бы черночубый казачина не щупал мотню: в мотне лосевой кошель болтался, туго набитый золотыми империалами. Санька, понятно, ущупал кошель...

За окном промерзшего вагона снег – пустыня, дымящиеся, нахохлившиеся деревни, мертвые колокольни и медленный, самый медленный в мире пассажирский поезд восемнадцатого года.

Ночь. Глубокая ночь...

Скрежет тормозов – удар, визг железа. Санька Круглов трахнулся с верхней полки на купчину, тот заорал во всю пасть:

– Граабют!..

На Саньку свалился поп Михаил, темень, переполох. Во всем вагоне рев, гвалт, визг.

Поп Михаил вопит:

– Господи, помилуй! Господи, помилуй!

– Кажись, крушение, – первым опомнился Ной и, открыв дверь, схватил бекешу, шашку, карабин, поспешно выбежал из вагона узнать, что произошло.

Путь впереди разворочен. Пассажиры из вагонов – как горох из решета. А кругом – снег, сухой, скрипучий, – в бога, креста, давай, машинист, Самару!..

Бегут. Бегут. Качаются в снежной метелице волчьи глаза свечевых фонарей, путь разворочен! «Ааа! Ааа!» – вопит горластая толпа и бегом, бегом к дымящимся вагонам на втором пути безвестного разъезда.

Поезд с продовольствием шел из Сибири в Петроград – поезд с продовольствием пустили под откос.

Как тут было? И что тут было? Скрежет и вой стонущего железа, хруст и треск ломающихся товарных вагонов, облако пара от лопнувшего котла, слетевшего с рельсов и железным лбом своротившего деревянный телеграфный столб. Возле столба – оборванные струны проводов, и в этих струнах свистит ветер – ветер и мороз! Искромсанные, сжеванные ва-

гоны. Некоторые вагоны-теплушки горят, там ехали люди – охрана, и все они, эти люди, обезображенные, валяются на рельсах. В шинелишках, в полушубчишках, кто в чем. Едкий дым стелется в морозной стыни. А по разъезду всадники с шашками – всадники с шашками! Возле разъезда – подводы, подводы, подводы. Какие-то мужики в шубах горбятся под кулями с хлебом – грабят пущенный под откос эшелон с продовольствием.

Конные надрывают глотки:

– Наааазаааад! Паааа ваагооонаам!

Стреляют. Из винтовок, револьверов. В кого стреляют?! Кто стреляет?!

По рельсам, по шпалам, по откосу – потоки пшеницы, мешки с мукой, крупой, туши скотского мяса – в ледяном распяты. Рельсы выворочены, шпалы вздыблены – катастрофа! Вся Россия разворочена сейчас, как этот пущенный под откос продовольственный эшелон из Сибири.

– Ааааа! Г-гаг-га-га! – стонет толпа, птясь от всадников.

– Пааа ваагооонаам!

На досках от разбитого, догорающего вагона лежат обгорелые трупы. Дуню тошнит, и она, отступая, упирается в чьи-то спины. А тут еще поп Михаил, длинноволосый, без шапки, с крестом на черной шубе, устрашающе гудит:

– Горе, горе тебе, великий город Вавилон! Горе нам, горе, погрязшим в блуде и неразумении! Бесы нас крутят и мутят – будет еще, глаголю вам, пир Сатаны! Внемлите, православ-

ные!..

– Боженька! Боженька! – бормочет Дуня, затираемая со всех сторон.

Тискают, давят, месят друг друга, толпа орет в тысячу порожних глоток – орет, орет, а что – сам черт не разберет. Бегут. Бегут. Падают. Подхватываются. Завьюживают сбочь пассажирского поезда, рассасываясь по вагонам.

Дуня бежит, бежит – сердце или лопнет, или разопрет грудь. Гонят, гонят конные бандиты с винтовками и шашками. Дуня видит всадника в белой папахе, шашка свистит над головой. «Пааа вааагооонааам!..» – базлает чертов всадник.

Кто-то схватил Дуню за рукав шубки, и в сторону, к вагону.

– Лезь за мной, дуреха! Под вагон! Живо!

Это хорунжий. Боженька! Конь Рыжий!

Ной сграбастал ее и без лишних слов утащил под вагон.

– Ах ты, язва сибирская! Сколь ищу! Осподи! Бежать надо от греха подальше. Я оружие и вещи перенес на ту сторону, за насыпь, там нету бандитов. Оттуда бежать надо.

– Как бежать? Куда бежать?

– Экая! Бандиты-то золотишко давить будут, как пить дать.

– Какое у нас золото? Или у вас есть золото?!

– Дуреха! Морда-то у те красивющая. Живо накинута. Тогда как? Тебя не отдам – жизни лишусь; отдать – совести лишусь. Одно к другому сплылось: бежать до другой стан-

ции. Там подождем, когда выручат паровоз. Не ранее завтрашнего вечера. Рельсы-то на разъезде все разворотили.

Уразумела: «Тебя не отдам – жизни лишусь; отдам – совести лишусь. Одно к другому сплылось».

– А твой ординарец?

– Ему што? Схитрит, Санька тертый.

Перелезли на другую сторону поезда и ползком скатились под откос.

III

В третьем спальном купе переполох. Купец из Екатеринбурга в барашковой шапке, в шубе сопел, пыхтел, беспомощно двигая пухлыми руками.

Поп Михаил бормотал о погибшем граде Вавилоне; беленькая, пригожая Люсьена с монгольской мордашкой, в нарядной шубке и в теплой шали, милостиво жалась к черномуусому казаку в серой папахе, да и супруг ее заискивал перед служивым:

– Вы как служивый, э-э, смею обратиться, поимейте разговор с этими, которые, э-э? Надо полагать, банда учинит грабеж, э-э?.. Куда ушел ваш хорунжий с дамочкой, а?

Санька успел спрятать свое оружие и кули с добром засунул подальше.

– Завсегда так: грабить будут, – равнодушно ответил Санька. – А хорунжий утопал с Дунькой.

– Что же нам делать?

Санька подкрутил усы:

– Мотню твою, Георгий Нефедыч, как пить дать, пощупают. Вот те крест! Меня щупать не станут. Казак? Навоевался? Ну ладно, валяй дальше. А у тебя сколь добра напихано? Ого-го-го! Много. Мотня к тому же. Соображение имей.

– Мы же едем вместе! Ради Христа, не оставляйте нас с Люсьеной на произвол судьбы. Ради Христа! Будете вознаграждены.

– Люсьене что? За мотню возьмутся.

– Горе, горе тебе, великий град Вавилон! Город крепкий...

– Батюшка! Э-э, отец Михаил! Ради нашего, э-э, благополучия, э-э, помолчите со своими псалмами. Как же, служивый? Оружие к чему спрятали? Момент такой, чтоб отпор дать.

Санька не успел ответить, раздался голос в коридоре:

– Ти-иха-а! Всем оставаться по местам. Теснитесь, теснитесь на тот конец по коридору. Живо! Маалчаать! Предупреждаю: кто знает большевиков – укажите, сами помилованы будете. Подготовьте документы и золото. Паанятнааа? Золото! Для войска святого архангела Анакентия Вознесенского, а так и для завоеванья слабоды. За сопротивление без упреждения стрелять будем. Паанятнааа?

Купчина из Екатеринбурга как стоял, так и сел на мягкую, умятую полку, где недавно отлеживал бока хорунжий. Поп

Михаил, обалдело таращась на закрытую дверь, растерянно развел руками:

– Нету такого архангела Анакентия Вознесенского. Ни в каких святцах нету.

– К черту святцы! – гавкнул купчина.

– Господи, прости! – перекрестился поп.

В коридоре слышались возня и крики пассажиров. Кого-то били, тискали, женщина визжала во все горло. Хлопнул выстрел. Люсьена повисла на шее Саньки:

– Умоляю вас! Умоляю! Вы же казак – поговорите с ними. Может, они поймут. Они же люди, люди.

– Один на банду не сунешься, – буркнул Санька и отступил от Люсьены поближе к двери. – Какое у меня золото? Вот у Георгия Нефедыча разве. Так за его золотишко я лоб не подставляю. У него мотня, а у меня што?

– Жора! Жора! Ради Христа! Ах, боже, он ополоумел. Передай кошель Александру – сохраннее будет. Да што ты, в самом деле!

Не дожидаясь, когда в себя придет Жора, Люсьена подскочила к нему, распахнула шубу на лисьем подбиве, но не успела добраться до ремня плисовых штанов, как Жора моментом оправился от шока, руку в карман и – в лапу браунинг. Чужая неладная, Санька – одна нога здесь, другая в коридор, и дверь не закрыл.

– Не дамся, бандюги, грабители! – надулся купчина. – Этот Санька с хорунжим из той же шайки-лейки. То-то он

щупал меня ночью, паскуда!..

– Жора! Жора!

– Прочь! Прочь! – рассвирепел Жора.

Из коридора падал слабый свет в темное купе, а по коридору кто-то пробежал мимо с винтовкой, а потом Санька – быстро так. Люсьена истерично причитала, сидя на купечских тюках, попик Михаил попытался было вскарабкаться на верхнюю полку, но сорвался и упал на Люсьену, отчего она закричала еще громче. В тот же момент в открытую дверь из-за стены сунулся ствол карабина:

– Выходи, большевик!.. Живо!..

Купец одним махом перескочил в угол. Первое, что попало ему в глаза, – черная лохматая папаха. Не теряя ни секунды, он выстрелил в черную папаху – два раза сряду, карабин покачнулся и упал в дверях. Купчина за карабин, и дверь закрыл. В коридоре еще не опомнились, как купчина защелкнул дверь на секретку.

– А ну, Люсьена, бери карабин. Живо! – призвал свою ревущую супругу. – Бери, говорю. Или из браунинга будешь стрелять?

– Ты не большевик!.. Скажи им!..

– Боже, Боже, Боже! – частил поп.

– К черту Бога! Теперь другой молитвы нет. Или они нас, или мы их, бандитов. Бери! Покажу гадам, какой я большевик!..

Купец взял себе карабин, а Люсьене передал браунинг.

Из коридора кто-то выстрелил в закрытую дверь – щепой ударило купца в нос, и окно тоненько звякнуло – пуля тюкнула. Люсьена раза три выстрелила в дверь. Купец одним махом взлетел на верхнюю полку; Люсьена лезла под полку, но ей мешали тюки. Еще выстрелили в купе из коридора. Поп Михаил завопил: «Господи, помилуй, убийство». Он корчился в темноте на тюках, а купец, приловчившись, саданул раз за разом из карабина в дверь. В коридоре кто-то утробно взвыл: «Аааа»! – и все затихло.

Время ожидания тянулось ужасно медленно. Люсьена мелко и часто причитала. Купец спросил: ранена? Нет? Ну так чево воешь! Лезь на верхнюю полку. Живо! Да стреляй, стреляй!.. Поп полз к двери, чтобы выбраться прочь из осажденного купе, но купчина рывкнул:

– Назад! Пристрелю, черт в рясе! Лежи там!

Поп тягуче затынул:

– Истлевает душа моя о спасении твоём. Когда ты утешишь меня, Господи! Когда призовешь?.. Сколько дней раба твоего осталось?..

С улицы трахнули шпалой в окно, и оно со звоном вывалилось. Купец не успел развернуться, как в купе бросили камень будто, и этот камень лопнул со страшным грохотом. Все купе густо задымилось. Купец оглох. Мотал башкой, хватаясь за темя, и тут почувствовал, что у него оторвало ухо, разворотило щеку и в левом боку застрял огненный комок – прожигало насквозь. Но он был еще в себе, соображая, что

и как дальше. Позвал Люсьену – ни звука, ни оха, и поп Михаил тоже молчал – упокоился.

– Та-ак, – сказал себе купец, зажимая ладонью развороченную щеку и место, где было левое ухо. – Та-ак, бандюги...

В окно валил дым – и то ладно, не задохнешься. Товар горел. Жалко. Ну да конец всему. И товарам, и купецким делам.

Огненный комок сжигал внутренности, но купец, стиснув зубы, примолк. Он был уверен, что бандиты ждут, не подаст ли кто голос из купе, и тогда бросят еще одну бомбу. Если он будет молчать, они разворотят дверь, и тут он в упор с короткого расстояния. Эх, если бы пришить этого проклятого ординарца хорунжего! Это он, Санька, выдал, наверное, купчину за большевика.

В дверь били, били прикладами. Купец молчал, а карабин держал на изготовку, стволом к двери. И как только дверь раззявилась, он из темноты на свет сразу увидел трех в шубах, но Саньки не было.

– Тут все горит, – сказал один из них. – Пушай к черту все сгорит!

Бандит повернулся спиной к купе – лицом к другому, в шубе – на одну пулю двое! Ахнул выстрел, и еще один. Купец передернул затвор – патрона больше не было. Он помнит, где-то на полке Люсьены казак Санька спрятал свое оружие. Хотел перелезть на вторую полку, но сорвался и упал на горящие тюки.

В окно стреляли по верхним полкам, но купчину выстрелы не беспокоили. Он хватал голыми руками пламя, обжигался и не чувствовал ожогов.

Он слышал, как зачастил пулемет. Та-та-та-та-та! Он еще не сообразил, в чем дело, как на линии за разбитым окном раздались голоса:

– Красные из Самары! Красные из Самары!

Наступила тишина. Удивительная тишина. Купец при-
молк. Время остановилось.

Кто-то лил воду на купца и товар.

В купе вошел проводник с фонарем – дюжий, сытый дядька, а за ним трое с винтовками. Купец поднял голову, испачканную в крови и саже, тяжело рыкнул:

– Гады! Стреляйте! У, гады! Бандюги!

Один с винтовкою ответил:

– Мы не бандиты. Мы красногвардейцы. Надо спасти человека! Быстрее!

Купчина помотал головой:

– Поздно. Хана мне. У-ух. Нутро сгорело. Сколько я их, э? Сколько! Э-э?

– Трех бандитов убили. Один ранен.

– Слава Христе! – И купчина сунулся головой в обгорелый, мокрый тюк. Рядом с ним, скорчившись, лежала Люсьена с браунингом в мертвой руке. Поп Михаил головой упал на лавку, а туловище под купцом.

Потом явился откуда-то Санька, предъявил свой демоби-

лизационный документ и сказал, что он, дескать, ехал со своим красным командиром, а где теперь командир – неизвестно, была еще женщина – большевичка из Петрограда. Не иначе как бандиты утащили их за собой. А он, ординарец, спасся, спрятавшись под вагоном. Санька врал отчаянно.

А купец еще жив был и слышал вранье черноусого Саньки Круглова. Собравшись с силами, он шарил руками возле Люсьены, пока не нащупал браунинг. Тогда он приподнял голову – на него никто не смотрел, все были в коридоре у дверей, ждали доктора.

– Та-а-ак, – растяжно протянул купчина. – Где он, бандюга? За большевика продал?! Где он?

Браунинг качался в руке купца, а голова падала вниз. Все отпрянули от двери. Теряя сознание, купчина все-таки выстрелил в пустое пространство и, шумно вздохнув, скончался.

– Господи, помилуй! – перекрестился Санька, робея; он догадался, какого бандюгу хотел пристрелить купец Георгий Нефедыч. – Без памяти, а все еще стреляет. До чего отчаянный! Я с ним, товарищи, душа в душу жил. Ехали мы в Екатеринбург с товаром, чтоб закупать там хлеб для голодающего Петрограда. И вот как привелось!..

Санька умел врать и выкручиваться – не зря же таскался в ординарцах!..

И что самое отрадное было для Саньки в конце всей истории: лосевый кошель с золотыми империалами перекаче-

вал-таки к нему в мотню и болтался на том же нательном ремешке Георгия Нефедыча!..

Так-то вот!

«Умей жить, умеи крутиться» – было девизом Саньки Круглова.

Делать нечего – пришлось вытащить трупы.

А добра-то, добра-то сколько досталось Саньке!..

IV

Они шли двое в немом и стылом пространстве ночи. Санную дорогу перемела поземка. Местами, сбиваясь на обочины, Ной проваливался в снег по пояс. Он тащил куль и увесистый чемодан из буйволовои кожи, перетянутый ремнями. Дуня шла сзади с карабином на ремне через плечо. Приноравливалась идти рядом, но санная дорога была до того узкая, что они сталкивали друг друга на обочины.

Покуда шли возле леса, Дуня со страхом озиралась: не вылетит ли из чащобы волк?

– Ной Васильевич!

– Ну?

– Передохнем.

– Устала, якри тебя?

– Дорога такая трудная, как будто здесь никто не ездил. А снегу-то, снегу-то!

– Перемело...

– Тебе не тяжело тащить куль с этим чемоданом?

– Дотащу.

– Боженька, что они теперь творят с пассажирами? Как же трудно жить!

– Само собой. Летают, куда крылья не обломают. От разрухи и распутства характеров Расея вроде напололам переломилась. Уразуметь не могу: какая жизнь будет после? Советы берут силу, а удержатся ли?

Перешли какую-то речку в черных ветлах по берегам; дорога круто свернула в займище, слева черный лес, справа плоскогорье, редкие опушки уныло белеющих берез, покаты́й склон, открытый всем ветрам; ветер содрал снег с горы, и они долго шли сбочь пашен. Шли, шли и подступили к лугу. Уткнулись в такой глубокий снег – коню по пузо. Ной тыкался то в одну, то в другую сторону, но дороги не было – потеряли. Куда она девалась, холера? Ной оставил куль с чемоданом возле Дуни и, взяв карабин, пошел искать дорогу. Дуня как стояла в снегу по колено, так и села, будто в белый пуховик. Ветер дул в спину. Спасала обезьянья дошка. Дуня подняла воротник, спрятала руки в варежках в широкие рукава шубки и так это удобно устроилась, как в кошевке будто. А снег мело и мело. В низине чернел лес – белое и черное. Снег мело и мело...

Ной лез и лез взгорьем в поисках дороги. Ветер рвал изпод пимов сухой снег, взвихривал, стлался белым дымом. Полы бекеши то обжимали ноги, мешая идти, то раздувались

парусом. Кое-где по склону темнели в темном забвенье одинокие приبلудные сосны, размахнувшиеся вширь и ввысь. Хоть бы луна выглянула из свинцовой тяжести – ни луны, ни прибежища от ветра и мороза.

Опираясь на карабин, как на дубину, Ной искал дорогу и потерял собственный след. Будто и не шел здесь. Туда sunulся, сюда – нету следа. Что за наваждение? Не потерять бы Дуню. «Ого-го-го-о!» – позвал он, повернувшись лицом в лог. Ветер напирал в спину, подталкивал. Дуня не ответила. Ной испугался и пошел вниз, в лог, потом опять вернулся – не то взял направление. Собственные следы терялись – заметало снегом. Быстрее, быстрее по склону горы. Еще раз крикнул. Прислушался, не ответит ли Дуня, но голоса не было. В логу чернолесье, как дегтярная река. Мрачная, тяжелая река. Бежал, бежал склоном, загребая ногами снег, падал грудью вперед, вскакивал и снова бежал. Белая, белая мгла. За десять шагов ни зги не видно. Крутится, вьет, вьет белые кружева, замечает следы. Белым-бело. За склоном горы чуть тише. Здесь где-то Дуня. Догадался – прикорнула на снегу и уснула, как всегда случается с усталым человеком. Это же бог знает что! Так и замерзнуть можно. До рези в глазах осматривался вокруг, выписывая спирали, и сам заблудился. Понять не может – как и откуда они шли? С той стороны или с этой? В какой стороне Самара, Волга? А вот и дорога. Точно, дорога! За гребнем снега, вылизанная до санных борозд. Опустился на колени, пощупал – точно! До-

рога шла вглубь леса, в лог. Но где же Дуня? И снова полез взгорьем.

– Ага-га-га! га-га!..

Только ветер посвистывает в ответ.

Спит. Спит. Младенческим сном праведницы. Надо же, а? Где же ее искать? Подумал, заломив папаху на затылок. Взмок. Жарко. Главное – спокойствие в данный момент. Как на позиции. Если нет уверенности перед боем – лучше не начинать атаку. Дорогу он теперь знает как найти. Вот здесь излучина лога – чугунная река чащобы круто поворачивает влево, а ему надо взбираться вверх, на склон горы и там осмотреться. Лучше всего идти спиралью. Идти и кричать во все горло. Снег, набившись в голенища пимов, таял, и он чувствовал, что портянки стали мокрыми. На крутом склоне выскользнул из рук карабин и укатился вниз. Побежал за карабином, поскользнулся, круто выругался, ворча: экое, прости господи!

Умогнулся в снегу и, не помня как, задремал, а по всему телу разлилась до того сладостная истома, что, казалось, не было ничего дороже такой приятной минуты. Век бы отдыхать в таком вот умиротворяющем теле и душе покое. А покоя нет. И когда он настанет, покой для воина России?

– Экое! Чавой-то я, лешак? – беззлобно выругался, поднимаясь. Ноги дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня?

Ни карабина, ни Дуни.

Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей и пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу.
– Эвон куда укатился!

Надо стрелять – может, Дуня услышит выстрелы?..

V

Горит, горит, горит! Вся земля горит от края и до края, от неба и до неба. И так жарко, душно – не продохнуть. Будто пожар проник в сердце Дуни, и жжет ее, жжет сонную, ослабленную, и она куда-то бежит, бежит от пожара. Она одна в поле, на бездорожье. Где-то здесь хорунжий Ной Лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много лет. Ной ищет и ищет дорогу, она, Дуня, ищет и ищет Ноя, зовет, кричит громким голосом, а голоса нет!

Стреляют. Стреляют. В кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы и никак не может понять, в кого и где стреляют?

Снег летит и летит. Но где же Ной?

«Что это я? Что это я? – испугалась Дуня, очнувшись. Она сидит в снегу. Почему она сидит в снегу? Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы? – Как жутко, боженька! Где же Ной Васильевич?» И опять хлопнул выстрел – совсем недалеко. Это же Ной Васильевич стреляет! Попыталась встать, и ноги не подняли, как чужие будто. «Я замерз-

ну, совсем замерзну! Боженька!»

– Нооой! Нооой! – закричала что есть мочи, и Ной услышал. Побежал к косогору. – Я совсем ооченела! Встать не могу, – жалостно пробормотала, глядя снизу вверх на Ноя.

– Экое, господи прости, потерялись! Часа два ищу и сам закружился. Экая огромятушая пустошь! Ног не чуешь? Ужли обморозила? Оттирать надо. Ах ты, беда!..

Усадил Дуню на туго набитый куль с добром, стащил фетровые сапожки и, стянув шерстяной носок, давай растирать ступню в теплых, широких ладонях. Трет, трет да приговаривает, чтоб она никогда не забывала, что ноги у нее прихвачены. Дуня бормочет что-то о страшном сне.

– Плюнь ты на сон! – урезонил Ной. – Чего страшиться-то?

Оттер обе ноги, но Дуня едва могла ступить на них – огнем горели. Но она терпела и шла, шла за Ноем – за его широкой спиной.

Скоро уткнулись в сонную тишь бедной деревеньки дворов в пятнадцать или того меньше: там халупа под соломенной крышей и там, там, как копны, разбросаны среди белого безмолвия. Ни собачьего бреха, ни огней, ни дымов над придавленными снегом бедняцкими избами.

Постучались в окно какой-то хаты, еле разбудили бабу. Земляной пол, лавки, столик, нищая кухонька с черными чугунками и большущая печь, откуда высунулись белые, пшеничные головки детей с вытаращенными глазами: один

другого меньше, как поросята будто, сколько их, хозяйюшка? Девятеро. Хозяина нет – вдова, до того истерзанная нищей, что у Ноя в носу завертело. А есть ли в деревеньке добрый хозяин с лошадьми, чтоб подрядить отвезти в Самару? Ой, ой! Самара-то далече-далече! Хозяйка не бывала в Самаре, должно, далече. Ну а Волга? Волга недалече – за деревней сразу Волга. А за Волгой богатая деревня.

Ох-хо-хо!..

Ни чаю испить, ни погреться – соломы мало осталось топить печь, а кизяков совсем нет, корову бандиты прирезали и сожрали.

– Экое! – глянул Ной на испитую бабу, как она испуганно жалась спиною к печи, заслоняя свое пшеничноголовое богатство, успокоил: – Чего боишься? Или думаешь, не из той ли я банды, которая сожрала твою корову? Не из банды. С поезда мы, бежим в Самару. Погреемся малость, да пойду искать лошадей. А ты ложись спи, не бойся. И я вот тут вздремну.

Дуня как вошла в избу, села на лавку, в простенке у стола, тут же уснула – умаялась. В шубе небось угреется. Баба залезла на ту же печь, откуда выглядывали детские головенки, пошушукались там и вскоре улеглись. Потухла коптилка. Чернь и холод по всей избе. Ной вздремнул и, как только синь отбелилась в одинарном замерзшем окошке, встряхнулся, сунул карабин под лавку к Дуне, закрыл увесистым кулем и потихоньку вышел.

Едва забрезжило утро, Ной подкатил с состоятельным мужичком из соседней деревни на паре лошадей, звонким золотом расплатился, чтоб домчал мужик до Самары, к поезду торопились. Но не застали поезд – ушел при полудни, а они подъехали вечером...

VI

А в Самаре-то, в той Самаре – народищу неупророт. Со всего голодающего Приволжья. И столько-то горя горького, столько-то охов и голодных людей, что в голове у хорунжего Лебедея, как в ступе просо: толкется, толкется, а что к чему – разберись! Одно слово – голод!.. Россиюшку опоясал голод, как нищего неугревные лохмотья.

Самара-то, русская Самарушка!

На вокзале – ни продыху, ни отдыху, ни толку, ни понятия, все смешалось в кучу и ревело одним отошальным людским мыком: дайте уехать! Дайте уехать! Куда уехать?!

А военных-то, военных! С Юго-Западного, Северо-Западного фронтов, а ты откуда, хорунжий?..

А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается, нужда за горло схватила: паровозов нет, депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет, одно ясно – нет как нет! На все и вся один ответ: нет!

Разруха!..

Еле-еле Ной выжал место для Дуни в закутке вокзала: си-

ди, да не спи, и револьверчик свой держи в строгости: ухаживай, как червей в навозе. Ты же, якри тебя, пулеметчица! Тут у нас все богатство, потеряем – никак не уедем.

Вышел на перрон: все пути забиты воинскими эшелонами. А по перрону чехи, чехи, словаки. Те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии, и по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот – эшелонами забита Самара!

Эшелоны, эшелоны, и все при боевом укладе: на платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы! Вот дела так дела!

Узнал у железнодорожника: вечером отправят санитарный эшелон с тифознобольными чехами во Владивосток по специальному разрешению Ленина.

Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу – эвон императорские вагоны, видишь? Там много набилось бывших русских вашбродей. А ты не «вашбродь»?

– Хорунжий, – с достоинством ответил Ной.

– А! Из тех же перышек!

– Красный хорунжий.

Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к Ною, потом сказал:

– Ежли красный – не иди в генеральский вагон. Там нос держут на свержение Советской власти. Вот такие дела! А других поездов нет – пути забиты. Дня за три рассортируем чехов по станциям, как только поступят указания власти, а пока пробка заколотилась. – Подумав малость, посоветовал: – А ты попробуй. Да не выпирай красную кожу наружу – может, уедешь с ихним эшелоном.

Направился хорунжий в генеральский вагон. Стрелок при немецкой винтовке с ножевым штыком никак не мог уразуметь, что понадобилось высоченному казаку при шашке и в лихо заломленной папахе в генеральском вагоне! Гнал прочь. Винтовку наискосок – запруда стальная.

Вышел из вагона капрал Кнапп – морда утюга просит, глаза вприщур, усы нафабрены. Часовой доложил капралу Кнаппу: лезет русский казак.

– Шьто надо, казак?

– Здравия желаю, ваш-сок-бродь! – отчаянно козырнул прошлогоднему противнику хитрый хорунжий; черт с ним – рука не отсохнет, а вывезти может.

Капрал Кнапп молчит. Знает, бестия, что с революции русские чествование отменили.

– Хорош казак! Шьто надо?

– Уехать бы мне в Сибирь, ваш-сок-бродь, с санитарным

эшелоном. Как бы поговорить с генералом?

– О! Генераль? Не можно! Нет! Можно подпоручик Богумил Борецкий. Он будить отправлять эшелон на Владивосток. Франций, Франций!

Капрал позвал за собою служивого в мягкий, бывший императорский вагон под медными надраенными орлами. И ко-го же Ной встретил в коридоре вагона? Вашброди, вашскоброди! И все нацепляли на себя погонушки, иные в эполетах, аксельбантах, начищенные, наутюженные, нафабранные, как золотые империалы из банка. Что же такое происходит? Бог ты мой! Кого видит? Сотник Бологов в кителе, в начищенных сапогах, усики накручены, глаза-шельмы и кадык, давящий на воротник кителя. Но откуда же у сотника есаульский погон с одним просветом без звездочек? Когда и кто произвел его в есаулы?

Зеленовато-кошачьи глаза Бологова до того округлились, не мигая, будто готовы были выскочить из орбит.

– Конь Рыжий! – воскликнул он, забывшись. – А, черт! Извини. Надо же – запомнил. Какими судьбами занесло тебя сюда, господин хорунжий?

Ной сказал, как его занесло, – уехать надо.

– А, черт! Вижу и глазам не верю. Ты хоть скажи – откуда явился в Самару. Из Гатчины? Ну как там?

– Демобилизовали полк.

– Да ну?! Здорово! А немцы прут на Петроград. Не сегодня, так завтра возьмут. Пятнадцать дивизий шарахнули.

Слышал? Прут, прут немецкие битюги! А ты знаешь, как раскололи наш центр? Это же солдатня! Хорошо, что ваш полк не восстал, – расчихвостили бы вас. Я еще двадцать четвертого января смылся из Пскова – еле ноги убрал, многих наших центристов шлепнули. Через военно-полевой суд. А сейчас тут встретил Дальчевского, генерала Сахарова и Новокрешинова – их выслали из Петрограда. А хорунжего Мотовилова произвели на тот свет. Слышал? Да много здесь наших офицеров из Пскова и Петрограда.

Ной помалкивал. Ну, сволота! Хоть бы в одном глазу совесть проклюнулась! Сам же приезжал подбивать полк к восстанию, а теперь похохатывает.

– Ну а как там женский батальон в Суйде? Разгромили?

Ной неопределенно пожал плечами – и молчок.

– Эх, и батальонщицы были! Мм! Штук тридцать – георгиевки. Из телефонисток, гимназисток, курсисток, разные, всякие. Я у них часто бывал. Нарвались здорово они!.. Была там парочка: одна сибирячка Дуня Юскова, пулеметчица, и Женя – институтка из Смольного. Я с этой Женечкой – бог мой! До сих пор в голове угар. Дальчевский говорил, что ты спас Дуню Юскову. Где она?

Ной хлопал карими глазами – и ни звука, как в рот воды набрал.

– Эх, и молчун ты, хорунжий!

– Само собой, – весьма неопределенно ответил Ной, подумав: если увидит Бологов Дуню Юскову – моментом захо-

мутает и утащит за собою в преисподнюю, в смолу кипучую.

– А мы тут собрались на чествование чешского генерала Сырового, пятидесятилетие, кажется. Просил к обеду всех русских офицеров откусать в вагоне-ресторане. Будут какие-то важные лица. Переговоры ведем. Чрезвычайно важные! Большевиков не сегодня завтра пихнут из Петрограда. С нетерпением ждем этого дня. Чехословацкий корпус нам может оказать помощь. Ну, пойдем к подпоручику Богумилу Борецкому. Может, он втиснет тебя в санитарный эшелон. Но имей в виду: уважение, уважение и парадная честь! Это наши будущие союзники, учти. Особенно офицеры корпуса.

Подпоручик Богумил Борецкий изволил откусывать в своем отдельном купе, не ожидая званого генеральского обеда. На подносе – индейка, кофеек в серебряном чайнике, бутылка марочного коньяка, что-то еще, накрытое ослепительно-белыми салфетками, ну и сам, собственной персоной: в одной исподней рубашке, австрийских шароварах на тяжах, чтоб не свалились, молодой, здоровенный, грудина на отрыв пуговиц, в щеки пальцем сунь – кровцу добудешь; упитался на тыловом харчеванье на территории позапрошлогоднего противника. Не воевал, должно, ни за Австро-Венгрию против России, ни за Россию против Австро-Венгрии, а вот, поди ты, какую власть имеет! По уставу царской службы не положено отдавать честь противнику или тем паче военнопленному, да еще перед сидячим, гологоловым, а вот на тебе – замри и стой, хорунжий драный, тянись хвощом, коль

Россию одолела вша несусветная!

«Есаул» представил: так и так – хорунжий Енисейского войска, рубил большевиков в Петрограде во время недавнего мятежа, бежал и теперь надо ему уехать к себе в Красноярск. И ни слова о разгроме женского батальона!..

Ноя как дегтем окатило! Вот как господа вашброди аттестуют себя чехам! Все они, оказывается, рубили большевиков и чудом спаслись. А ведь сами бежали из армии без оглядки и, конечно, погоны не цепляли на плечи!

Подпоручик так-то липуче разглядывал хорунжего Лебедея, ну будто купить задумал. Вытер губы салфеткой, оттянул большими пальцами тяжи на плечах, отпустил – звучно шлепнули, еще раз оттянул – еще раз шлепнули. Понравилась музыка.

– Петр-град? Капут польшефик! Фриц, мадьяр – делать пудут с польшефик – шлеп, шлеп, – показал оттяжкой на тяжах. – Ми требайт от польшефик немедлен отправка Владивосток. Мальчаль Петр-град! У них тут плохо, – повертел пальцем у виска. – Они думайт, наш корпус пудет за польшефик сражайт немцев, австро-венгров. Фи! Ни будить! Н-нет. Ми пудем делайт так польшефик, – еще раз показал на тяжах: шлеп, шлеп.

Хорунжий руки по швам – струна ту же не натягивается.

– Краснояр ехайт?

– Так точно!

– Может, ждайт будешь Самара чешска эшелон? Сегодня

большой событий будейт. Ваш офицеры, генералы встречаются нашим генералами Сыровым, Чачеком и русс Шокоровым, офицерами.

Нет, хорунжему надо спешить домой. Нельзя ли с санитарным эшелоном сегодня? Жена с ним едет больная. (Бологов глаза вытаращил. Жена?! Но промолчал.)

– Какой болесь? Кранкхайд? Ваш мадам?

– Воспаление легких? – подсказал Бологов. – Давай что-нибудь.

– Болесь – нельзя эшелон. Нельзя! – категорически отрубил подпоручик, заливая себя, как из огнемета, убойным горючим из трофейной французской бутылки.

Бологов покачал головой:

– Сам себе все испортил! Золотишка нету? Я выйду, ты орудуй, – и смылся.

Ладно. Хоть нелегко Ною расставаться с золотом, полученным еще при Николашке, а запустил руку под рыжую бекешу, достал гомоток, куда отложил десяток империалов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка три. Подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранника, сказал по-чешски, чтобы отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешения, мол, генерала Сырового.

– Буйдеш ехайт, козак. Скоро ехайт. Эшелон – тиф, тиф. Чтоб мадам никакой общенья офицер. Бросай будут. Вон, вон! Понял?

– Так точно!

– Мало рубил польшефик, козак! Мало! Ми топить будем польшефик. Вольга! Ха, ха, ха! Доволен? Нет?

– Премного благодарен, вашбродь!

Из конюшни-то уписной, императорской, да в санитарный эшелон – благодать господня.

Ефрейтор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака с его дамой. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными, два туалета настежь открыты – рай господний! Последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками с медикаментами. Одна нижняя полка свободна.

– Тут! Ты, мадам, – тут! – Ефрейтор показал на полку. – Воровайт медикамент – капут. Понимайт? Капут! Пуф, пуф!

– Так точно! На кой ляд мне ваши медикаменты!

VII

На вокзале Дуню облепили офицеры, разъедают ухаживаньем, как ржа железо, куря папиросы – до тошноты ароматные. Она давно не курила настоящих папирос! Сам Ной не курил, и ординарец не курил. Дуня просила достать табачку – так-то стыдил, усовещал! Водки не пьет, табак не курит и на женщин не взглядывает. Не житье – монашья схима.

Штабс-капитан, особо атакующий Дуню, угостил краса-

вицу знатной папирсой. Прикурила от зажигалки. Штабс-капитан галантно преподнес Дуне пачку папирс и зажигалку, сработанную из винтовочного патрона: колпачок на фитиле на тонкой серебряной цепочке. Дуня сунула зажигалку с пачкой дорогих папирс в сумочку, поблагодарила офицера. Затянулась на все легкие, и как будто огонь разлился по венам – моментом опьянела, в щеки и в шею кровь кинулась.

– Спааасибо, – едва выговорила, и глаза смягчились.

Штабс-капитан шумнул на офицеров, и они разошлись кто куда: субординация!

Ну, ясно: откуда? далеко ли? чей карабин? Ах, хорунжего? А кто хорунжий?

– Боженька! – бормотала Дуня. – Судьба свела меня с хорунжим. – И Дуня так-то жалостливо выглядела, что молодой штабс-капитан тут же подсел к ней на кожаный чемодан и давай прочесывать: где и что? и как? Пулеметчица? Женского батальона смерти Керенского? Как это патриотично! Что? Что? Батальон восстал под Петроградом и был разбит в Гатчине. Да что вы?! В Самаре он ничего не слышал о восстании батальона. Об этом должна узнать вся Самара, Нижний Новгород, вся Волга! Здесь, в Самаре, собираются лучшие люди России – весь аромат и букет России; все изгнанные офицеры и эсеры из Петрограда сейчас здесь. Штабс-капитан непременно введет Дуню Юскову, патриотку, в узкий круг особо доверенных людей. У Дуни екнулось: «особо доверенные»! Как те, из Пскова, которые толкнули

на восстание, а сами спрятались в кусты. А батальонщицы за них поплатились кровью.

– Ты, Дуня, в партии? – умощает штабс-капитан. – Я буду лично рекомендовать тебя в нашу партию социалистов-революционеров. В ближайшие дни в России ожидаются грозные изменения. Немцы сейчас под Петроградом. В неделю они разделаются с большевиками, и тогда...

Дуня не слышит, что еще говорит весьма осведомленный штабс-капитан, она видит, как толкаются среди пассажиров проститутки – рыжие, пепельные, отчаянно крашенные, усталые и голодные, торгующие телом, и все их разглядывают сразу, как будто на лбу у них клеймо, а они рыщут, липнут нахальными глазами с вытравленной совестью...

– Уберите руку! Сейчас же! – резанула Дуня и, встав, швырнула прочь недокуренную папиросу. – Как вам не стыдно!

– Что ты, что ты, Дуня?

– Ко всем чертям, господин офицер! Ко всем чертям! Я таких, как вы, повидала на позиции. Убирайтесь! – И топнула.

Молоденькая проститутка захохотала:

– Прибавь красненькую, офицерик! Она в дорогой шубе – на красненькую дорожке.

– Если вы сию минуту не уйдете – пристрелю! – с ненавистью резанула Дуня, сузив глаза.

И штабс-капитан понял: пристрелит, такая пристрелит.

Убрался, не оглядываясь.

Ной прибежал с доброй вестью: уедем, якри ее, хоть с обманом, а уедем, в санитарном эшелоне чехов.

— Паскуду одну встретил у чехов в офицерском эшелоне, — говорил Ной. — Да ты его знаешь. Сотник Бологов. Погоны есаульские нацепил, шельма.

— Сволочь! — присолила Дуня.

— Само собой. Да вот что в удивление: радуются вашбро-ди, что немцы прут на Петроград. Как будто не русские матери народили их, господи прости.

VIII

Они уехали.

Две недели отсиживались и отлеживались в купе с медикаментами. Ной пристроился спать на полу, доставал на станциях продукты, носил кипяток в чайнике и все так же держал себя в строгости, как старший брат с заблудшей сестрой.

В конце февраля добрались до Ачинска. Из Ачинска на перекладных — до Ужура, и тут повезло: на почтовой станции нашли четверку саврасых, впряженных гусем в важнецкую кошеву — семерым ехать. Хозяин назвался Терентием Гавриловичем Курбатовым из деревни Яновой Новоселовской волости. А ты откуда будешь, служивый? Из Петрограда в Минусинск? Ну, братец, гостю из Петрограда Курбатов все-

гда рад. Садитесь. Поговорим дома про Питер, как и что там происходит у большевиков с их Лениным.

— А мне вот, служивый, здешний телеграфист передал, что красные собираются подписать мир с немцами. Оторопь берет. Такого Россия не переживала со времен нашествия Наполеона. Кони у меня — молнии, американский автомобиль загонят. Собственного завода. Да-с. Садитесь. Садитесь. А вы, гостюшка, устраивайтесь спиной в передок, да вот доху накинem на вас. Ноги спрячете под медвежью полость. Ну, Павлуша, трогай!

Молодой парень, Павлуша, в новехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком, взобрался на облuchок, обитый, как и вся кошева, выделанными медвежьими шкурами, ухарски гикнул, и они помчались...

Ветер не поспевал за кошевой, пунцовое, будто кровью напитанное солнце до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшную гору небосвода. Дуня — ноги в ноги с Ноем, и смешно и дивно: называют себя мужем и женою, а ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует, может, батальонщицей Керенского? И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра, в воскресенье, к обедне доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кириллычу? А потом? К папаше-душегубу в Белую Елань? Страшно!

Горы, Ужурские горы. Местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за сорок градусов, а

Дуня как в печку спряталась.

Терентий Гаврилович хотел угостить их из утепленных тайников кошевы первеющим коньяком – отказались: Ной не употребляет – не сподобился, а Дуня отказалась из-за Ноя, облизывая губы: ох, как бы она выпила!

Терентий Гаврилович – бородка русая, соболья шапка, подборная черная доха, белые, с розовой росписью по голенищам, романовские пимы, образованный, начитанный – сказал, что в Сибирь притопапал как народоволец на вечное поселение, обзавелся семьей и хозяйством; пустопорожней политикой заниматься некогда – без штанов останешься.

Павлуша на облучке посвистывает, едва шевелит вожжами, а кони мчат, только подковы щелкают. Вспомнились Дуне рысаки конюшни папаши, кучер Микула, такой же размашистый, чернобородый, как отец, видела отчий дом на каменном фундаменте, где не сыскалось ей малого закутка – выгнали прочь; вспомнила себя маленькой в белом батистовом платице, сестру Дарьюшку, как каплю с каплей схожую с ней – из одного плода. И вдруг как-то сразу, счужу увидела себя в кричащем наряде девицы заведения мадам Тарабайкиной.

IX

Деревня ядреная, неумолотная. Долго и с великим усердием надо молотить такую деревню, чтобы она разорилась.

Ну а про Терентия Гаврилыча говорить нечего: этого разве в распыл пустить, тогда уж не подымется.

Дом Курбатова на середине главной улицы – крестовый, под железом, на кирпичном фундаменте. Наличники резные, карнизы резные, и по краям крыши окантовка узорами, ставни голубые, ограда как крепость, – тесовые ворота украшены железными полосами и бляхами, навес, где обычно зимуют голуби.

Хозяина встретили домочадцы. Терентий Гаврилыч важно представил:

– Вот моя супруга, Павлина Афанасьевна, прошу любить и жаловать. Сын Павел, только что из Пермского лазарета, старший сын все еще воюет на Юго-Западном фронте. Жив ли? Неизвестно. Писем давно нет. А вот старшая дочь, Глафира Терентьевна, здешняя учительница. А на ее руках Кешка – внучонок, шустрый вояка, спасу нет. А вот еще одна белая лань – дочь Катя помышляет уйти в гусары. Ну-с, а гусары вышли из употребления. Вот, Катя, перед тобою хотя и не гусар, а казачий хорунжий с шашкой. А это наши люди – Павел, кучер, знакомы, брат его Тимофей Акимыч, прапорщик, из румынского плена, навоевался. Ведает моими конторскими делами. Супруга Тимофея – Федосья Наумовна, главная наша кормилица: не обижаемся. Без нее мы так и не знали бы, с чем едят малороссийские галушки и вареники. А это наш шорник, Селиверст Назарыч, молодой еще, но знающий дело. Был шорником у меня его отец, а теперь сын.

Всякое мастерство требует, служивый, постоянства и любви к делу.

Ной с Дуней со всеми поздоровались за руку, как и положено на Руси православной.

– Федосья отведет вам комнату, располагайтесь. Если хотите, оставайтесь на воскресенье. Нет? Домой тянет? Понимаю, понимаю! Ну-с, передохнем часик, а потом и в баньку. А банька у меня, скажу вам, голуби мои питерские, столь же заглавная вещь, как и хлеб насущный: остудину из тела гонит.

Хозяин позвал Ноя в отведенную комнату, где Дуня возилась с малым кудрявым Кешкой: так-то играла, забавлялась, как будто Кешка был ее сыном.

– Познакомились? – уставился на Дуню Терентий Гаврилыч. – Ну-ну. Дозвольте спросить, Евдокия Елизаровна, мм, как бы вам сказать... Нет ли у вас сестры, Дарьи Елизаровны?

– Боженька! – ахнула Дуня. – Вы знаете Дарьюшку?

– Как же, как же! – усмехнулся хозяин. – В декабре прошлого года была у меня в гостях с мужем. Но как вы поразительно схожи. Я еще в Ужуре удивился: как будто Дарья Елизаровна, капля в каплю. Потом подумал: не может быть. В кою пору попала бы в Питер? Да и муж ее...

– Боженька! Терентий Гаврилыч! Расскажите же, расскажите, ради бога. Я ничегошеньки не знаю. Мы и вправду похожи – близнецы. Так, значит, вы ее видели? Вот диво-то!

Дарьюшка замужем! А кто ее муж?

– Горный инженер. Гавриил Иванович Грива. Сын минусинского доктора Гривы. Слышали про такого доктора? Из политссыльных социал-демократов.

– Это тот, у которого яблонеый сад на Тагарском острове?

– Он самый.

– Боженька! Как я рада! Хотя сестричка вырвалась от папаши-душегуба.

– Н-да! Елизар Елизарович Юсков, как я знаю, человек не из любезных. Крутоват.

– Зверь зверем, – поправила Дуня. – А куда Дарьюшка ехала с мужем?

– Из Красноярска возвращались к себе в Минусинск.

Дуня похлопала в ладоши:

– Как я рада, боженька! Завтра встречусь с чертушечкой, вот уж повеселюсь! Мы так давно не виделись!

– Ну а теперь, супруги Лебеди, сготавливайтесь в баньку. Что такое дорога от Питера до Яновой – не надо сказывать: не почишись и не помоешься. Так что освободитесь от своего дорожного бельишка, как мужского, так и женского. И всю верхнюю одежду отдайте на прожарку. Федосья подаст вам по смене белья. А все свое сымите – прожарить надо. Ни за белье, ни за протчее, в том числе за дорогу, никаких расчетов. Вы – мои гости. Ну, кудрявый, пойдем. Сейчас подошло Федосью.

Ной до того растерялся, что не в силах был глянуть в лицо Дуни.

«Вот те и на! Супруги!» — только и подумал.

— Верхнее мы можем достать свое, — молвила Дуня. — А мы ведь и правда обовшивели за дорогу.

— Само собой.

А вот и Федосья с кипюю белья: подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая; Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова.

— Ты это, таво, Дуня, переодевайся, а я буду покель там, — кивнул Ной на соседнюю комнату и был таков.

Х

Баня! Парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани, ну никак не жить. Да еще такая вот, как у Курбатова. Просторная, что дом, с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и дымовой трубой, чтоб топилась по-белому; над каменкой специальные жерди для прожарки одежды, там и наряды Дуни, и штаны с лампасами, и все прочее; веники заварены в соленой воде, чтобы березовые листья хорошо лънули к телу, пробирая паром до косточек, шесть широких скамеек — для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, кадки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос, потолок и стены струганные, с

крючьями для белья. Ну а про полок для парки особо сказать надо: в четыре яруса; на верхнем полке чешет себя веником Селиверст-шорник, а на нижних еще семеро мужчин; хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой; Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек; он отродясь не парился: донские редко жучат себя вениками.

А Селиверст-шорник наяривает:

– Ах ты! Ух ты! Едрит твою!.. Ишшо поддай, Павлуха! Ишшо! Ах ты! Ух ты! Ишшо маленько! Ишшо! Квасом плесни. Квасом. Ах ты! Ух ты!.. Тятенька! Ах, господи! Святые угодники-сковородники!.. Ах ты, ух ты!..

Ной только что намылил рыжечубую голову, дюжил, крепился, потом слез со скамейки на пол, а Селиверст-шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза, горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину – терпенья нету, вот-вот сжаришься, а Селиверстшорник подкидывает:

– Ишшо маненько! Ишшо!.. Ах ты! Их ты!.. Матушки-патлатушки! Угодники-сковородники!.. Ишшо, Павлуха! Ишшо. Шибче плесни! В зев плесни! Ишшо! Ишшо! Такут-твою!..

Паровозный котел лопнул, не иначе, до того нестерпимо жжет тело. Не баня, пекло Сатаны. Ной схватился за уши, и носом, носом по полу к бадейке с холодной водой; достал пригоршню воды и в глаза, чтобы белый свет увидеть, а Терентий Гаврилыч ржет:

– Вот погоди, служивый, я поддам после Селиверста да в снегу покатаюсь, вот это будет баня.

– К лешему! – послал Ной и ползком в предбанник. Ну нет, такая баня не для него. Отпыхался кое-как, мотая башкой, быстренько натянул кальсоны, но не успел застегнуть, лопнули по втокам, и пояс на полчетверти не сошелся. Экое! И нижняя рубаха еле-еле налезла, руки потяни в обхват плечей – расползется. Кое-как собрался – и в дом.

Белесая, дородная хозяйюшка Павлина Афанасьевна удивилась:

– Так скоро?

– В экой бане быка сжарить можно.

Дуня ходила по передней с малым Кешкой на руках; глянула на голову Ноя.

– Ой, боженька! Да у тебя голова в мыльной пене.

– Говорю же: отродясь не мылся в таком пекле.

Хозяйка с Федосьей хохочут:

– О, це чоловик! У нас, на Украине, нема таких бань. Ширияют, ширияют себя, молотят, як скаженные! Ой, як молодят! Це ж Сибирь!

Хозяйюшка умилила:

– Ладно, Ной Васильевич. Вот мы – женщины – помоемся и попаримся, тогда вы пойдете с Дуней. И Кешу помоеете. Он у нас тоже не терпит пару.

Дуня хохотнула в нос, а глаза, глаза – искрами, черными искрами так и сыплут, так и сыплут, и жгут, жгут Ноя до пя-

ток, и он чувствует, как кровь стучит в висках, вскипает, насыщая богатырское тело неведомым доселе буйством чувств.

Дуня к бане припасла заморскую рубашку из запасов, добытых Ноем, французские чулки и бордовое шерстяное платье, ни разу не надеванное, с бельгийской этикеткой, хотела поднарядиться, чтобы понравиться Коню Рыжему.

Мужики пришли из бани до того разопрелые, разморенные, будто варили их в красном причастном вине, чтобы подмолодить лет на двадцать. Выпили по ковшику кваса, и хозяин прошел к себе в опочивальню, чтоб отдохнуть перед ужином. Ужинали они все вместе – хозяин с работниками за одним большим столом в гостиной.

Женщины мылись долго; известное дело – умостительная, чистоплотная и обиходливая половина людского рода.

Когда перемылись женщины, хозяйюшка сказала, что пар теперь сошел и они, гости, могут идти; если их не обременит, пусть возьмут с собою малого Кешку, тем паче, он будто прилип к Дуне.

– Пойдем, Дуня, – позвал Ной, и голос у него вроде осип.

– Сейчас. Сейчас! – А сама что-то ищет, тычется по своей комнате, хотя все собрано.

«Господи прости, эко привелось! Да ведь мужик я, язви ты, а все как вроде мальчонка. Сколь смертей повидал, сколь всякого разного хлебал, а вот, якри ее, робость одолела!» – пыхтел себе в бороду Ной.

XI

Они шли огородом между сугробами. Дуня мелко и часто, Ной – широко, размашисто с Кешкою на руках, с хрустом затаптывая ее маленькие следы.

В теплом предбаннике, где горела лампа, ни слова друг другу, Ной повесил на сохатиные рога бекешу, папаху, френч с накладными карманами, рубаху, одеяло, в которое был завернут белоголовый Кешка, и ушел первым в баню с мальчонкой, поддерживая одной рукой лопнувшие подштанники.

В бане светло от пузырьчатых фонарей, подвешенных на крючья у высокого потолка. Дуня вошла в одной рубашке, и Ной, успев раздеться, отвернулся от нее, от греха подальше. Она опять хохотнула под нос, сняла рубашку, села на скамейку; взяла к себе малого, чтоб заслониться крохой от стесняющегося Ноя. Кешка сопел, фыркал, но не плакал.

– Кешку вымыли? – спросила Глафира Терентьевна из предбанника.

– Вымыли.

– Несите, пожалуйста, одену.

Дуня вынесла Кешку, закрыла дверь, обернулась и замерла возле каменки. Ной сидел к ней грудью на широченной лавке из цельной лиственной плахи и как-то странно смотрел на нее. С его медной бороды стекала вода. Но не борода,

не мощная шея и грудь, не размах плеч поразили Дуню. На широченной груди Ноя, чуть пониже ямочки, зловеще сиял золотой крест на чуть видимой цепочке. Такого креста Дуня отродясь не видела. От него неслись лучики: тонюсенькие, белые, как вроде стеклянные – из верхней точки, и кроваво-красные в четырех местах. Никак не могла уяснить, что же это такое светится? Над Ноем свисал пузырь фонаря. Может, капля воды так сверкает? Тогда откуда красные лучики из четырех точек? На Дуне давным-давно не было нательного креста; жила как бусурманка, нехристь, а тут – эвон какое чудо! Дуня даже забыла про стыд и не закрылась рукою.

– Боженька! – ахнула она. – Это что у вас? Крест-то почему так сверкает?

– Экое! – Ной взглянул на крест, точно сам видел впервые. – Нательный крест деда моего. Архиерей пожаловал. Каменья в нем. Бриллиант и четыре рубина. Один генерал сказывал: каменья потому так сияют, что молодые еще, не утухли. Каменья драгоценные, так и люди: сияют до той поры, пока молоды. Погляди.

Дуне стало до того страшно, хоть беги из бани. Вспомнились молитвы деда Юскова, страхи Божьи, а что, если Ной – вовсе не Ной, а и вправду Конь Рыжий? И все, что случилось: спанье вчуже друг от друга, бегство с поезда – было ли оно? Может, и поезда не было? Где она, Дуня? С кем она? А что, если все будет так, как грозился дед Юсков? Что настанет день и час, когда свершится над ней суд Господний за все

ее грехи тяжкие, за прелюбодеяние, за торг своим телом, за непочтение отца и матери и за другие мелкие и всякие грехи, про которые сама не помнит? И вот Конь Рыжий затащил ее в баню, а может, не в баню, а в чистилище?

– Боженька! – вскрикнула Дуня, закрыв лицо руками.

– Чего ты?!

Ной подскочил к ней, схватил на руки и прижал к груди. Она пыталась вырваться, что-то бормоча сквозь слезы про свои грехи и что не по своей воле стала великой грешницей и запомнила про Бога, а Ной уговаривал, прижимал к себе, защищая ее от всех для него неизвестных напастей, затаившихся в ней. Ее сухие, кудрявящиеся волосы рассыпались по плечам и спине. Тонкая в перехвате, упругая, белая, она прилипла к его мокрому телу, мало-помалу успокаиваясь от щедрой и бесхитростной ласки.

– И в самом деле, Дунюшка, папаша твой чистый зверь, если толкнул ты в яму, и ты потом сама себя потеряла. А ты вылезь из ямы, вылезь! И я помогу, Дунюшка. Ты для меня самая что ни на есть благодатная и самая что ни на есть чистая: в душе чистота-то, в душе!

– Нет, нет, нет! Я же... я же... ты не знаешь, где я побывала, боженька!

– Со мной теперь. Где бывала – там нету тебя.

– Потом плевать будешь!

– Господи прости, или я сослепу спас тебя от казаков? Один у меня теперь прислон: к тебе вот, какая ты есть. По-

женимся честь честью.

– Нет. Нет!

– Пошто?

– Дурная я, дурная. Не буду я тебе женой! Не буду! Ты найдешь чище. Ты хороший...

– Кабы сам, Дунюшка, чистым был. Кругом закружился.

– Это я закружилась!

Как раз в этот момент ладонь Ноя нащупала рубец на шее Дуни, возле ключицы. Рана, кажись? Но это была не фронтовая рана... Пьяный клиент в заведении, домогаясь, чтоб красотка Дуня принимала бы только его, и никого больше, да еще жадничал – умойся трешкой, дьявол патлатый, – саданул ножом. Слава богу, успела откатнуться – так бы и перехватил горло. Ох, каких повидала! Брр!..

– Ну,пусти!..

– Не пущу, Дунюшка. Не пущу.

– Нет, не надо, Ной Васильевич. Не надо!

– Экое! От тебя табаком пахнет. Откуда эдакий запах? Не кури, Дунюшка, не кури!..

– Не надо! Не надо!.. Не пачкайся, ради бога!.. Э? Не пачкайся!.. Грязная я, грязная!..

В ее мягком размытом взгляде мерцало что-то странное, недовольное и обиженное. Она с чем-то боролась в себе и не могла это высказать. Руки ее расслабленно опустились, маленькие груди исчезли, словно он их стер ладонью, торчали только черные пуговики. Она боролась с собой. То, что бы-

ло просто с другими, оказалось таким трудным с Ноем. Он спросил, откуда у нее рубец на левой ключице, где ее так ранило? Она сильнее стиснула зубы, зажмурилась, отвернулась.

– Как вроде штыковая рана.

– Пусти!

Она упорно отворачивалась, закусывая губы, не отвечала ему. Не сопротивлялась и не была с ним. Лучше, если бы он не спрашивал про рубец, тогда, быть может, она не вспомнила своего прошлого. Они приходили в заведение голодные, жадные, иногда бешеные, накидывались, как волки, рвали тело, долго и люто насыщались, и потом, когда уходили, желтые лисы уползали к себе в норы, массировали тело, чтобы не было синяков, и не раз, бывало, плакали от бессилия и отворачивания, проклиная свою страшную работу и все на свете. И этот, от которого она ждала после Самары чего-то особенного, был таким же сильным, неодолимым, и ей стало плохо – в голову ударило.

– Ты что, Дуня?

Он поцеловал ее в мокрую щеку – хорошо еще, не ударил со щеки на щеку, как били недовольные клиенты, если желтая лисица отдавалась не с жаром и пылом. Ной Васильевич утешал ее, допытываясь, отчего она расплакалась, подsunул руки под спину, поднял, бормоча:

– погоди, мы еще вот как жить будем! Понимаешь? Еще вот как! Ну, что плачешь? Ну?

– Я же просила... мне надо отдохнуть... забыть... – И совсем как ребенок: – Ну, не сердись, пожалуйста. Я буду дру-
гая. Вот увидишь, буду. Потом. Когда все пройдет.

– Сиди, сиди. Я тебя вымою.

– Я сама. Посижу немножко.

– Сиди, сиди, «сама»! Наклони голову.

– Ой, мылом нельзя голову. Такие волосы – войлоком ска-
таются. Мыльной водой надо. Или щелоком. Федосья сказа-
ла, в кадке щелок.

Он набрал в шайку щелоку – горячей воды, настоящей на
березовой золе. Она сидела перед ним на лавочке, стиснув
ноги, склонив голову до округлых коленей, а он мыл, стара-
тельно намыливая кудряшки, потом окатил теплой водой, и
еще, еще, чтобы водой расчесать волосы. Потом она скрути-
ла мокрые волосы, отжала и уложила узлом на темени. И ко-
гда он повернул ее, чтобы смыть спину, облегченно вздохну-
ла на всю грудь. Так с нею никто еще не обращался из муж-
чин.

– Ной!

– Ну?

– Ты хороший, Конь Рыжий.

– Ладно, ладно.

Тело ее было горячее и до того промытое, что скрипело
под его ладонями.

– Порядок. Давай ноги.

– Дай же я сама! – Винтом повернулась и повисла у него

на шею, повалив на спину.

– Живая?

– Живая! – хохотнула она, прижимаясь к нему своим горячим телом. – Теперь я другая, видишь?..

Узел ее волос распался и упал ему на лицо. Он убрал мокрые пряди от глаз, смотрел прямо и близко в ее светящиеся, сияющие глаза. Она что-то еще бормотала, неузнаваемая, жадная, как будто в нее влили ковш браги...

– Какие у тебя сильные плечи! Ты такой здоровый, Конь Рыжий! А я-то думала – монах-казак. А ты ловкий. Если бы я была казачка, ей-богу, влюбилась бы. Будешь меня вспоминать, скажи?

– Пошто вспоминать? Или мы не сроднились за дорогу, а так и в Гатчине?

Дуня разом поостыла, поднимаясь, сказала:

– Вот уж сроднились! Спас меня от расстрела – спасибо на том, но нам никогда не сродниться, Ной Васильевич. Разные мы люди. Ни мне за тебя замуж, ни тебе на мне жениться. Куда кукушке до Коня Рыжего! Сроднились! Век бы нам так не родниться и не креститься – ни двумя перстами, ни кукишем, как ты молишься. Ты ведь совсем не знаешь перелетную кукушку. Смешно просто. Ужли ты и вправду подумал, что мог бы удержать в казачьих руках кукушку, которой век суждено куковать и из гнезда в гнездо летать?

– Ни к чему оговариваешь себя, Дунюшка. Если родитель, как ты сказала, изгнал тебя из дома, дак не все же на миру

злодеи. Есть и добрые люди. А как по мне – жили бы мы с тобой в мире и согласии, и было бы хорошо. Не позволил бы никому срамить тебя. Оборони бог!

Дуня опять захохотала:

– Срамить меня! Да если я сама себя посрамила, как же ты меня обелишь? Или не слышал: черного кобеля не отмоешь добела! Уж как-нибудь одна буду век вековать. А ты женишься на казачке, в своем Таштыпе или из какой другой станицы возьмешь – мало ли красивых казачек по станицам? Зла тебе не пожелаю – живи и радуйся в крестьянстве. Ты же будешь землю ворочать, на сборы выезжать, а казачка детишек тебе нарожает, хозяйство будет вести, коров доить, кур щупать... А у меня, Ноюшка, пальцы не так сработаны, чтоб куриц щупать да коров доить.

Ной приуныл – чужая душа с ним, будто не сидят друг возле друга на лавочке. И у этой чужой души свои заботы, а ему, Ною, от ворот поворот указан.

– Что ты так вздыхаешь? – спросила Дуня.

– Мои вздохи со мной останутся, Дуня. Только сказать хочу: в крестьянской жизни есть радость, а не токо щупанье кур. Меня, к примеру, земля радует. Сами себе хлеб добываем и городчан кормим. А того, чтоб насмехаться над кем-то, в заведенье нету.

– Боженька! Рассердился! Да не со зла я говорила так, не думай. Выросла при городе, а не в крестьянстве. Да еще доченькой миллионщика навеличивали!.. Я вот еще спрос учи-

ню с папаши. Я ему припомню в горький час его жизни все свои мытарства и муки! Ох как припомню. Обгорела я, как выброшенная из каменки головешка.

Ной ничего не сказал. Окатил себя шайкой воды, провел ладонями по бороде, долго и тщательно протирал тело полотенцем, а потом не спеша стал одеваться.

Было воскресенье – день в истоке.

Морозная мгла с туманом кутала енисейские просторы, и только цокот копыт по ледяной дороге да гиканье кучера Павлуши на облучке нарушали дремотный покой в холодном и неуютном пространстве.

Силушку-Ноя подмывала забота: как он встретится с батюшкой Лебедем и со своими родными, тем паче с казаками-одностаничниками? «Про собеседование в Смольном с красными комиссарами молчать надо, – думал Ной. – Не понять ни батюшке-атаману, ни казакам, какой переворот свершился в России! Вчерашнее, кажись, навеки отзвонило в царские колокола! Да и где они, наши казаки? Терентий Гаврилыч сказывал: дивизион атамана Сотникова задержался в Даурске; двигаются на Минусинск. И батюшка с одностаничниками, должно, в дивизионе. Ох-хо-хо! Как бы не выиграло здесь побоище, как в той Гатчине, господи прости!..»

Дуня, спрятав лицо в лохматый воротник дохи (Терентий Гаврилович обрядил гостей из Питера в собачьи дохи, чтоб не перемерзли в дороге), думала про встречу с Дарьюшкой. Сколько лет не виделись! И так много, много разного и вся-

кого намоталось за эти годы, что всего враз не выскажешь. Да и можно ли говорить про свои мытарства, как миллионщик Востротин бросил ее на произвол судьбы в Питере! Разве все это поймет счастливица Дарьюшка?

«Она-то не мыкалась и по углам не тыкалась, – кручинилась Дуня. – За что меня исказнила судьба-злодейка? Как жить мне?! У Дарьюшки на притычке?..»

Но если бы знала Дуня, что произошло именно в это мглостое утро в Белой Елани!..

Завязь шестая

I

В далеком, неведомом Петрограде царь отрекся от престола и к власти пришло Временное правительство, а у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачивались пустопорожними керенками и посулами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло: пихнули временных, и объявилась Советская власть, а заглавными воротилами – большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе как от анчихриста. А тут еще на сходке в Белой Елани сын старого Зыряна, Аркадий, заявил, что он-де натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть этак, а я – вот он, не от анчихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает «пролетариат» – не обсказал.

Ладно бы, жить можно, да кругом разруха такая – ни гвоздей, ни мануфактуры, не говоря про сахар там или конфеты, а товарищи из продовольственных отрядов тоже заседают: «Хлеба, хлеба, хлеба!»

Бедствие и нищета опоясали деревню – портки на бедных мужиках не держались. А богатые попрытали хлеб – попробуй сыщи!

Смутность напала: что, к чему? В башку не помещалось.

А старый тополь все шумел и шумел, и кто знает, какое он лихо навораживал!..

II

...Служба шла своим чередом.

Молились. Молились. Молились.

Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полубубке и, еле переводя дух, заорал:

– Ой, чо случила-а-ся! Учительша-то, Дарья Елизаровна, уто-о-оп-ла-а!.. – И перекрестился по-старообрядчески на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами.

Прокопий Веденеевич прицыкнул на мальчонку, но праведница Лизаветушка, костлявая сухостоина в рыжем полубубке и черной суконной шали, насунутой до бровей, оставила духовника грубоватым, драгунским басом:

– Погоди ужо, духовник. Погоди. Пушай скажет. – И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила: – Не ври токо, чадо. Мотрай! Грех будет.

Топольцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кудряшки на высоченную Лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем:

– Вот те крест свята икона Спаса Суса, утопла. Я тама-ка был, на берегу Амыла. Петли на зайцев смотрел. Вижу: учи-

тельша идет Амылом. Подошла к полынье возле больших камней. Постояла. Самую малость. Перекрестилась. Опосля сняла шубу и положила на лед. Потом-ка кохту и потом-ка платью. И власы распустила, как еретичка вроде. Страхота. Ипеть помолилась. Без платка, а – помолилась. Вот те крест! А ветер на Амыле рвет, рвет и власы ейные раздувает, как гриву у коня. Я гляжу так. Потом-ка подошла к полынье и обуви сняла. Закрыла вот так ладоньями лицо и – бух в воду. Ажник брызнуло. Истинный Бог. Я гляжу. Вынырнет аль не вынырнет? Нету-ка! Страхота! Потом-ка голос слышу: «Дарьяаа!» Это ейный дед Юсков базлал. Костыляет по льду, костыляет. Подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потом-ка снял шапку и пополз на коленях к ейным катанкам. А сам молится, молится. «Тута-ка лед, – грю, – шибко тонкий». А он молится, молится. Не слышит вроде. Потом-ка упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот те крест свята икона Спаса Суса!

Тополевцы сбились в кучу вокруг мальчонки, слушали, помалкивали.

Лизаветушка возвестила:

– Анчихрист сгубил мученицу Дарью.

– Анафема нечистой силе!

Прокопий Веденеевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как там ни суди, а Дарья Юскова – федосеевка, еретичка. Хоть и помогла святому Ананию, а крепости тополовой не обрела: не приобщилась к праведнику. Ну

а про анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденеевич сколько времени скрывается от ареста. Выдалось вот воскресенье – ревкомовцы уехали в Минусинск на какой-то там уездный крестьянский съезд. А завтра, чего доброго, схватят Прокопушку за бороду и упрячут в тюрьму: милости от такого сына, как Тимофей, не ждать, анчихрист со звездою во лбу. «Ох-хо-хо! Много мучительства сотворил проклятуший безбожник», – трудно подумал старик.

Единоверцы меж тем, не спросясь духовника, сорвались, как овцы с пригона, побежали поймой к Амылу.

III

Лизаветушка неслась как рысистая кобыла – удержу нет. За нею – сивобородый старик, Меланья с малым Демкой на руках, еще два мужика, которые обогнали Меланью, старики и старухи.

Лизаветушка до того вошла в раж, что не подумала о предосторожности на тонком льду возле взбуривающей полыни. Она спешила первой взглянуть на деда Юскова: жив ли? Лед звонко и сухо треснул под ее ногами, и она, едва успев вскрикнуть: «Господи», ухнула в воду по шею. Бурлящая кипень сбила ее с ног у подводного камня, вокруг которого всхлипывала ледяная вода. Рядом с нею, на обломке

льдины, плавал скрюченный в три погибели дед Юсков. Его седые жиденькие волосы все так же раздувались ветром, на спине вздулась шуба, не успев намокнуть. Лизаветушка вцепилась обеими руками в шубу Юскова. Бабы истошно вопили, не смея подойти близко. Один из мужиков пополз к полынье, но когда раздался треск подмытого снизу льда, отпрянул вспять. Под руками ни у кого не было ни палки, ни веревки. Покуда мужики сообразили снять самотканые опояски, Лизаветушку утатило под лед, а вместе с нею и скрюченного деда Юскова. Некоторое время крутились в бурлящем водовороте Дарьюшкины фетровые сапожки, шапка деда Юскова, но и они, намокнув, ушли под лед. Какая-то старушонка, бормоча молитву, тыкаясь возле полыньи, подобрала вещи Дарьюшки и отнесла их подальше в сторону. Некоторое время все молчали. Опомнясь, бабы заголосили. Мужики сопели в бороды. Как там ни суди, а по их нерасторопности утатило под лед праведницу Лизавету. Шутка ли! Не иначе как водяной схватил за ноги – и поминай как звали!

– Беда-то, беда-то, гли!

– В одночасье!..

– Подо мной как треснет, треснет. Ишшо бы чуть замешкался, был бы таперяча тама-ка с имя вместе.

– На каменюге-то эка взбурливает.

– И то!..

Подошел и сам Прокопий Веденеевич. Выслушал единоверцев и неторопко, но без видимого страха направился к

попынье.

– Поберегись, духовник. Лед-то нонече...

Прокопий Веденеевич остановился у полыньи, перекрестился:

– Не лед зримый, а крепость веры должна быть в помыслах ваших, праведники. Али неведомо, как пророк морем шел и люд за собой вел – и никто ног не замочил?

– Дык, Лизаветушка-то... – начал было кто-то, но духовник, подняв руку, призвал к молитве.

«Как разуметь то, что свершилось на глазах людей? – размышлял старик. – Была праведница – и нету. Ни хладного тела утопшей, ни свечечки в скрещенных на груди руках. Утопла. А можно ли утопленницу почитать яко праведницу? А кто зрил, что Лизаветушка сама собой утопла? Разве нечистая сила не оборачивается ветром, водою, огнем летучим и даже петухом кукарекующим? Истинно так. Праведница, должно, не успела сотворить молитву, как нечистый погубил ее. За что? Да чтоб порушить веру праведников. Старик Юсков с нечистым знался, паскудную веру правил, а Лизаветушка кинулась спасать его. Вот и сгила. Полынья ли то?»

– Али не зрите, праведники, котел Сатаны? – показал старик на полынью. – Тут он, котел, зрите! Ярится нечистая сила, злорадствует. Пенные губы вскидывает. К гибели то, грю. Али не ведаете: где лежит ваш меч, а где пух летит? И где ваш меч, вопрошаю? Где ваши ружья? Много ли припасли ружей и провианту, чтоб на нечистых ревкомовцев с ог-

нем кинуться?

Единоверцы пыхтят. Нет у них ни мечей, ни ружей.

– Али не сказывал: близится день сражения? Рушить надо безбожников. Подчистую рубить. Глите: котел Сатаны кипит! Али ждете, когда ревкомовцы повергнут всех в котел? Чаво ждете? Сказываю: нынешнюю неделю подыдемся. Ружья припасите, топоры, железные вилы. Старые и малые – все соберутся в одно войско, и святой Ананий будет с нами, яко спаситель. Огнь будет, огнь! И будет нам спасение, и крепость веры утвердится от века в век. Аминь.

– Аминь! – подхватили единоверцы.

– А хто из слабых сил скажет про слово Божье ревкомовцам, – пугал старик, – тому смерть будет. Тут он котел, зрите! И пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету – не слезы расточать будем, а силу копить. Сотворим праведнице службу, яко убиенной, и душа ее в сонме ангелов возликует. И крест воздвигнем тричастный. Аминь.

IV

Вопль стелется желтым дымом... Бегут, бегут из деревни поймою Малтата...

Черная молния ударила в сердце Белой Елани...

Беда-то, беда-то экая! Три смерти – и ни одного покойника; хоронить некого. А Дарья-то! Дарья-то Елизаровна! Светлая да разумная, кроткая и беззлобная, ей ли должно

так помереть? Не она ли была первой учительницей в Белой Елани, и вот не стало ее, радостной и улыбчивой, одежда на льду да заморские золотые часики на чьей-то шершавой ладони.

А часики-то, часики-то тикают, тикают.

– Истинный Бог, тикают!

От уха к уху – тикают, тикают. Стекло выпало, эмалевый циферблат треснул, а часы тикают.

– Вот диво-то! Живехоньки.

– В самом деле – живехоньки. Ишь ты!

– Сама идет.

– Игде?

– Ведут. Ведут.

– А самово-то нету: прячется где-то. Из ревкома ночесь стриганул с есаулом.

– Сыщут.

– Такого живоглота самово бы в полыню.

– В самый раз. Дарью-то он уездил.

– На школу рубля не положил, а на пакости разные мильена не пожалел. Банду содержит, живоглот.

– Известное дело, мильены упускать нелегко. С кровью рвал у инородцев в Урянхае.

– Новая власть живо подрежет крылья.

– Сорока гадала на сало, а оно, паря, к ногам ейным не пристало. То и с новой властью. Товарищи кумекают так, а оно, гляди, обернется вот эдак, навыворот.

– Не обернется. Вытряхнут Юскова с Ухоздвиговым из приисков, и баста.

– Фи! А мильены куда?

– Всему миру, для общества, стал быть.

– Ишь как рассудил! А не выйдет, Васюха, как в той побаске: шел народ до броду, увидел воду да и повернул обратно. Мокрая, толкует, водица, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, перемахнул на другой берег, а там-ка – видимо-невидимо золота лежит. Нагреб, сколь мог, пуще обогатился, а народишка к нему притулился: авось на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак?

– Ленин говорит: не выйдет.

– Ленин? Слыхивал в Минусинске про него. Сказывают, что он, этот Ленин, ерманцам нас запродавал. С потрохами, холщовыми штанами.

– Ну и врешь, Андрей Иванович!

– Оно так, Васюха. Один врет – лыко дерет; другой врет – лапти плетет. Третий подошел – лапти те надел да и ушел. Эх-хе-хе! Житуха настала – сопатому не в милость. Роздыху нет. Чистая погибель подоспела. То один переворот, то другой, оглобля ему в рот, а мужику – чистая растребиловка. Гли, вот у меня семьдесят пудов пашенички выгребли, а самому как жить-быть? При Николашке вроде легче дышалось.

– У тебя, Андрей Иваныч, всего не выгребешь. Известное дело: кто Лалетина на кривой кобыле объедет, кобыла та в одночасье сдохнет.

Ржут. Беззлобно. Добродушно.

– Сама! Сама!

Сама – Александра Панкратьевна, мать незадачливых дочерей, Евдокии и Дарьи, тяжелая, рыхлая, неуклюжая в длиннополом салопе, крытом черным бархатом, не идет, а ведут ее под руки – деверь Михайла Елизарович и горбатенькая дочь Клавдеюшка. Следом тянутся люди и приживальщики дома Юскова: домоводительница Алевтина Карповна, в нарядной, невиданной в деревне котиковой шубке и кашемировой шали с кистями, – надменная и важная, за нею работники: кучер Микула, чернобородый, размашистый в плечах, в новеньком черном полушубке и в поярковых расписных пимах, за ним – поселенец Мишухин, корявый до невозможности, стряпуха Аннушка и дочь ее Гланька с льняной косой через плечо, в полушубчишке с чужих плеч; самоход Евсей с бабкой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Акулиной, и за ними уже столь значительные, как и минувший день: Галина Евсеевна – супруга Михайлы Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелым Феоктистом Елизаровичем, старейшим из братьев Юсковых.

Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде.

Снег по берегу и на Амыле почернел, словно обуглился от удара молнии.

Топчутся в валенках, и снег на льду не скрипит – прахом мира запорошен.

Утоптали...

Пасмурь с хиузом.

Посвистывает, посвистывает и стонет веревка в прибрежных пихтах и елях.

Сама еще не верит, глаза ее сумеречно-темные, немигающие, что-то ищут в немом и стылом пространстве, бледные, бескровные губы беззвучно шепчут молитву.

Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке – золотая округлая слеза, а в слезе – бельмо с паутинкой трещин.

– Часики Дарьи Елизаровны. Живехоньки вроде. Тикают.

– Ма-аменька-а! – вскрикнула Клавдеюшка. – Знать, правда! Часики-то, часики-то Да-ашенькины-ы!

У маменьки подкосились ноги – Михайла Елизарович удержал ее.

– Ах, Господи! Ах, Господи!

– К полынье ведите, к полынье. Дайте мне хоть глянуть на полыню... на кого ты меня покинула... разнесчастную мою головушку... отзовись, откликнись!..

Не отзывалась. Не откликнулась.

Поздно.

Чернота.

Посвистывает. Посвистывает.

Красномордный кучер Микула, возвращаясь от полыни с длинным шестом в руках, возвестил:

– Чаво искать? Уволокло.

– Может, пошарить в полыньях ниже по Амылу?

– Чаво шарить? Уволокло. Амба.

Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна-де утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увез ее из ку-тузки к бабке Ефимии и не иначе как измывался над несчастной.

– Оно так, Боровик-разбойник доконал. Он самый. Прод-разверстку выдал из мужиков, вчистую сработал. Сколь ночей вы парились в ревкоме, а он, лешак, заявился и враз все выдал. Сом.

– Порода известная!

– Лют, варнак. Лют.

Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит:

– Чаво задря виноватить Боровикова? Ни к чему то. Дарью Елизаровну он ночесь аслободил со старухами.

V

Кружатся, топчутся, уминают саван; каркают вороны в чернолесье по левому берегу, перелетая стаями с места на место, как будто пададь чуют, полынья взбуривает на подводных каменюгах, бормочет синюшными губами, точно облизывается после сытного обеда. Народу все гуще и гуще.

– Ой, глите, ктой-то идет? – показала какая-то баба.

– Святители, пророк Моисей! – возвестила сморщенная

старушонка в самотканой однорядке поверх полушубка, перепоясанная красным кучерским кушаком. – Али не слыхивали? Ишшо вечор объявился. У Харитиньи Поликарповны заночевал. Моление у них было. Вера у него самая праведная, сказывал. От войска атамана Сотникова приехамши, чтоб людей готовить ко встрече с войском.

Мужикам в диковинку – что еще за пророк? А старухи – одна к другой – то-се, святой, дескать, переворот ожидается; привечать надо святого поклоном.

Пророк тем временем сошел с берега на лед и двигался к народу этакой невиданной громадиной, опираясь на толстую суковатую палку. Фигура в некотором роде внушительная – косая сажень в плечах, высоченный, чернушая борода в аршин из кольца в кольцо развеивается ветром, как веник, без шапки, в одной длинной холщовой рубаше, смахивающей на бабью споднюю становину, без ворота – просто вырез, чтоб голова пролезала, могучие плечи наполовину голые, шея что у быка, лохматобровый, носатый великан. Борода – смола текучая, а на голове – огонь летучий. Не диво ли? На холщовой рубаше – самодельный осиновый крест на толстой веревке. Полешники креста не обструганы – корою вверх для явственности – чтобы зрили, с какого дерева сработан. Холщовые шаровары пророка вправлены в белые шерстяные носки. На ногах сшитые из лосевой кожи чирки.

Мужики глазуют на пророка, подавленно покряхтывают. Экая силища! В мороз – в одной рубаше, в чирках, просто-

головый. Тут в шубах и полушубках пробралось до костей, руки-ноги с испару заходятся, а ему, должно, жарко.

Бабы и старухи, расступившись, крестятся, кланяются.

– По-о-омяни, Го-оспо-ди, – затянул трубным бычьим басом пророк, озирая толпу с высоты своего роста, осеняя грудь староверческим знаменем. – Блаженны плачуши, ибо утешатся в час лицепристанья пред Господом Богом нашим. Увы, увy, чады мои, сестры мои, братия во Христе, настал час скорбям и мукам вашим, и дана нам вера Господня, чтобы было нам спасенье. Аааминь.

Трубное «аминь» отдалось в берегах Амыла.

– Помолимся, помолимся! Аще будет спасенье! Войско атамана Сотникова поспешает на землю минусинскую, ждите!.. На неделе будет здесь. Прозрятся души наши, и спасены будем. Аааминь!..

Домоводительница Юсковых Алевтина Карповна подступила к нему ближе всех, глядела на грудь святого, выпирающую колоколом из-под холщовой рубахи, на его могучие плечи, рыжую голову и бородищу смоляную, ну как будто жеребца покупала: хорош ли? Не съел ли коренные зубы? Ладен ли круп? Пророк, в свою очередь, возвещая тарабарщину, украдкой взглядывал на богатую бабенку.

Вскидывая руки к небу, заорал:

– Зрю, зрю! Страшен будет суд над безбожниками, какие будут помогать большевикам. Геенна будет!

Кто знает, что еще наговорил бы пророк Моисей, если бы

не подошла к нему на шаг маленькая, неприметная, ссохшаяся бабка Ефимия в старомодной лисьей шубе, в шаленке, едва прикрывающей сахарно-белые волосы, а с нею прижи-валка Варварушка.

Недовольная Алевтина Карповна посторонилась, капризно смяв пухлые губы, а бабка Ефимия на нее никого внимания: смотрит и смотрит на пророка. Тот еще рычал о грядущем светопреставлении, о Страшном суде над отступниками от старой веры, и, когда на секунду замолк, бабка взяла его за осиновый крест и легонько дернула.

– Узнала тебя, Евлашенька. Экий ты стал, а? Бороду-то какую вырастил, а?

Пророк онемел на некоторое время, а бабка Ефимия подергивает осиновый крест:

– Не признал? Гляди же, гляди!

– Откуда сия старуха? – опомнился пророк, оглядываясь на толпу.

– Не признал? Ай, суетный! Так и мать родную не признал бы. Не ко мне ли в дом в Минусинске прибился ты с каторги? Ко мне, ко мне! Тому тридцать лет минуло. Приняла тебя, обогрела, дала укрыться, да ты, вижу, порушил слово свое. Грех то, Евлашенька! Не ты ли говорил, что отторгнул еретичную «осиновую» веру отца своего? А крест-то, крест осиновый. Ай-я-яй! Али псом стал?

Пророк гаркнул:

– Изыди, нечистая сила!

А тут и Александра Панкратьевна подкинула:

– Ведьма она, ведьма!

Юсковы добавили:

– Из твоей избы Дарья в полынью кинулась! Чтобы тебе
околеть, проклятушая!..

Старушонки облепили бабку Ефимию, цеплялись за ее
шубу, и если бы не мужики – разорвали бы нарушительницу
благочестивого откровения пророка Моисея.

Чернота.

Морозит. Морозит.

Посвистывает.

VI

Розовело небо; солнце еще не поднялось на пики елей –
куталось в мгlisto-слоеную шубу; не грело и не радовало –
да есть ли оно на небеси?

На берегу, сидя на задних лапах, задрал голову к небу,
утробно воет лохматый кобель деда Юскова – воет по покой-
нику, душу выматывает.

Пророк призвал разойтись всех по домам и не глазеть
здесь из праздного любопытства. Алевтине Карповне шеп-
нул незаметно, что поговорить-де надо, с глазу на глаз.

– Отойдем от суетных и праздных, сестра.

Бормоча молитву, размашисто крестясь, обошел вокруг
полыньи и подался льдом дальше.

С реки свернул к излучине правого, крутого берега, где не так жестко драл свирепый ветер. Нет, он не жаловался на мороз, как будто и в самом деле не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра. Его лапы до того покраснели, будто кровь выступила сквозь кожу, морда – краснее кирпича. Алевтина Карповна едва поспевала за ним.

– Куда же мы идем? – спросила. – У нас в доме такое горе!.. Хозяйку надо утешить. И вас прошу к нам в этот скорбный час.

– И смерть, и жизнь в руке Господа Бога нашего, – ответил пророк, хищновато поглядывая на барыню в дорогой шубе. – Поговорим здесь, сестра, откровение под небом угодно Господу Богу, не суетным, перемежающимся. Дозволь узнать, старуха, какая подступила ко мне, откуда родом? Кто такая?

– Юскова фамилия ее, Ефимия Юскова. Однофамилица моего хозяина, Елизара Елизаровича.

– О, Господи! Да сколь годов ей?

– Сто тринадцать будто.

– О, Господи! Продли мне век до годов сей старухи, и я прозрею в святости твоей, Господи!

– Она давно из ума выжила. Несет всякое. – А глаза хитрые, молоком вскипают, и видит то пророк, уминая под собой снег. – Разве вы Евлашенька, как она вас назвала?

– Евлампием был в общине батюшки свою, – признался пророк с тяжким вздохом. – Евлампием был, службу тяжкую правил, за что и повязан был царской властью: на двадцать

лет в каторгу упекли. Али не слыхала про Усинскую общину?

Алевтина Карповна ушам своим не верила. Так вот кто он такой! Про Усинскую общину до сей поры быть и небыть рассказывают. Еще давно глубоко в Саянах открыто было тайное поселение раскольников. Вся власть в общине принадлежала святому Емануилу с его тремя сынами. Они вершили суд и расправу над отступниками от «осинников»

Заведено было так: ни одна из девиц не могла выйти замуж, не переспав с Емануилом в особой исповедальне. Однако нашлась отчаянная – имя ее не называли в газетах – бежала из Усинска тайгою, едва не погибла, но вышла на казачью станицу Таштып и открыла станичному атаману про все злодеяния святого Емануила в Усинске. Девуцу доставили в город, снарядили казачий отряд, отыскиали поселение раскольников, нашли «смертный лог», в котором «лобанили» еретиков, собрали около сотни черепов с проломанными лобными костями, арестовали святого и всех его подручных и потом судили. Святого приговорили на вечную каторгу. Один из его сынов – Евлампий... пророк Моисей.

– У Юскова проживаешь, сестра? Атаман шлет ему поклон, да пусть готовит встречу войску.

– Скорее бы они пришли!

– Не так торопко. Пашеничку ждать будем.

– Как это понять?

– Поймешь!

– Вам же холодно в одной рубаше! Пойдемте. – А сама с любопытством, игриво воззрилась на бородатое чудовище; не выдержав напора нечистых глаз, тряхнул огненной головой:

– Ох, ввела во искушение!

– Ну что вы! Что вы! – попятилась Алевтина Карповна. – Пойдемте! Вы же окоченеете в одной рубаше. Мне и в шубе холодно.

– Не холодно, гляди! Сейчас жарко будет, – гудящим сдавленным басом ответил пророк и, воткнув свою толстую палку в снег, облапил дородную Алевтину Карповну да бородищей к лицу – задохлась. От бороды несло конопляным маслом, а от губ – тертым чесноком. Одной рукой от стащил свой осиновый крест, а другой прижал ее к себе. – Не грех то, не грех, – сопел в лицо чесночной вонью. – Не грех то, коль плоть с духом пеленается.

– С ума сошли! Кричать буду!

– Кого кричать? Обратись! – отвечал пророк, уминая сугроб под крутым яром. От тяжести двух тел оледеневшая корка сугроба не выдержала, и они оказались в белом гробу.

Это был самый длинный час в ее постылой жизни вечной полюбовницы. «О, Боже, спаси меня!» Но Бога не было – она не знала и не помнила ни Бога, ни черта, воспитанница купца Пашина, которого обокрала по наущению золотопромышленника Иваницкого. Сколько рук хватало ее белое, холеное тело, сколько раз она подсчитывала потом прибавку к

собственному капиталу, а тут – за что? Задарма? Чудовище, пещерный дикарь!

– Сподобилась, Господи, пшеничная. Приобшщу. Приобшщу к кресту праведному.

– Будь ты проклят, дьявол! – кусала себе губы Алевтина Карповна. Страх и бессилье закупорили горло; на лицо сыпался снег, и слезы, смешиваясь с тающим снегом, текли по щекам, приторно-чесночный запах будто проникал во все поры ее тела.

– Поплачь маненько. Полегчает.

– Будь ты проклят! Насильник!

– Замкни чесало!

– Чудовище!

Он вытаращил на нее глаза:

– Гляди, барыня! Шутейки свои забудь. Про меня в скиту говаривали: кто хоть раз с Моисеем шутку сыграет, вдругорядь, Господи помилуй, на небеси преставится. Цалуй хрест, коль сподобилась. Обратилась. Дюжая ты, слава Христе. Ой, дюжая. Хрест поцалуешь и – ступай.

– Будь ты проклят вместе со своим осиновым крестом. Будь ты...

Он ударил ее по мокрым губам – головой в снег сунулась.

– Не кощунствуй на пророка, тварь.

– Боже, боже! Да что это такое? – в горле у нее закипели слезы. Это же сумасшедший!..

Он опять поднес к ее губам крест:

– С пророком ли ты пребываешь, барыня? Не вводи меня в соблазн пролития крови.

– Не пророк ты! Каторжник, каторжник! – взревела барыня.

– Баба! – грозно гаркнул пророк. – Не зуди больно. Не шарборься по гладкой стене – не вскочишь на небеси, не сдвигаешь гору, коль веры нету. Уверуй допреждь. Обратилась – держи тайну сю. Ежли бы я был Евлампием – да в родственном Усинске, – не жила бы за срамное суесловие – в геенну сверг бы. Погрязла. Ой, погрязла. Цалуй троекратно.

Поцеловала троекратно...

Обратилась.

Брела домой, согнувшись коромыслом, и слезы застилали глаза. Плакала, плакала, не видя ни берегов Амыла, не чувствуя ледяного дыхания хиуза.

Не успела дойти до дома Юсковых, как по большаку навстречу вылетел пророк на грудастом рыжем жеребце.

– В Минусинск поспешаю! – крикнул, скаля белые зубы. – Жди, пшеничная, возвернусь с войском. Моление будет, пшеничная!

И лихо умчался.

VII

За час до того, как Дуня появилась в доме доктора Гривы, инженер Грива был освобожден из УЧК. Как же он встретил

Дуню! Он принял ее за Дарюшку и готов был расстрелять своими серыми глазами. А потом, когда узнал, что явилась свояченица, скупно сообщил, что Дарья Елизаровна живет в Белой Елани и что ее освободил из-под ареста некий чрезвычайный комиссар Боровиков.

– Известна вам фамилия?

– Боровиков? Что-то помню, – сказала Дуня. – Большой дом на самом краю улицы, и тополь еще, под которым убитый каторжанин закопан. Он из тех Боровиковых?

– Из тех самых. Вы с ним не встречались?

Дуня, понятно, никогда не встречалась ни с каким комиссаром Боровиковым, на том и оборвался разговор.

В доме семеро женщин готовили торжественный обед на сто персон. Из окон дома Дуня видела краснокирпичную трехэтажную тюрьму.

Тюрьма и сад доктора Гривы.

Еще в 1907 году ссыльный доктор купил у земства участок земли рядом с тюрьмою, куда горожане вывозили нечистоты, и на этом участке заложил фруктово-ягодный сад и построил стеклянную оранжерею, где выращивались розы и всякая всячина.

Сразу за тюремной стеной вздыбился по взгорью шумливый сосновый бор – печальное воспоминание о былых минусинских лесах. У берега Тагарской протоки Енисея лепились к тюремной стене, подобно ржавым коростам, бараки надзирателей и конвойной службы. За бараками, на юго-восток –

высокий заплот из плах, заостренных кверху: здесь начиналось владение доктора Гривы.

Из Красноярска приехали почтить доктора по случаю его шестидесятилетия его ближайший друг доктор Прутов и доктор Марк Прокопьевич Прейс с супругою и племянником. Вместе с ними пожаловал без приглашения редактор губернской газеты «Свободная Сибирь» некий Завитухин – вертлявый и языкастый журналист.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.